

צ'ריך עיין
ФЕСТИВАЛЬ
МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ
FESTIVAL
OF JEWISH TEXTS & IDEAS



www.eshkolot.ru

ШЕКСПИР В ГЕТТО

*Читаем Венецию
справа налево*

ВЕНЕЦИЯ, 4–7 ДЕКАБРЯ 2017
VENICE, ITALY, DECEMBER 4–7, 2017

АНТОЛОГИЯ
ТЕКСТОВ
к фестивалю
медленного чтения

**SHAKESPEARE
IN THE GHETTO**

Eshkolot Festival
in Venice

READER

for Eshkolot's Festival of
Jewish Texts & Ideas



ФЕСТИВАЛИ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ GENESIS
PHILANTHROPY GROUP, ЧАСТНЫХ СПОНСОРОВ И ФОНДА АВИ ХАЙ

THE ESHKOLOT FESTIVALS ARE SUPPORTED BY GENESIS PHILANTHROPY GROUP,
PRIVATE DONORS AND THE AVI CHAI FOUNDATION

Материалы к мини-курсу Йоэля Регева «Цфат в Венеции: луринская каббала на итальянской почве» Study materials for Yoel Regev's mini-course "Safed in Venice: Lurianic Kabbalah in Italy"

Менахем Азарья из Фано. «Асара маамарот» _____	4
Нафтали из Франкфурта. «Шаар ха-ахана» _____	6
Рихард Вагнер. «Тангейзер» _____	7

Материалы к мини-курсу Арно Бикара «Рыцари на улицах гетто: идишская поэзия эпохи Ренессанса» Study materials for Arnaud Bikard's mini-course "Knights in the Streets of the Ghetto: Yiddish Poetry of Italian Renaissance"

Примеры из литературы на идише с итальянским влиянием _____	42
Элия Левита как гебраист _____	48
Элия Левита. Творчество на идише _____	51
Элия Левита. «Бово Дантона» _____	56
Элия Левита. «Парис и Вьена» _____	61
«СедерНошим» _____	70

Материалы к мини-курсу Санны Турома «Русский мавр в Венеции: Иосиф Бродский и ориентализм» Study materials for Sanna Turoma's mini-course "Russian Moor in Venice: Joseph Brodsky and Orientalism"

Joseph Brodsky. Watermark _____	75
Иосиф Бродский. «Набережная Неисцелимых» _____	104
Иосиф Бродский. «Путешествие в Стамбул» _____	133
Иосиф Бродский. «Лагуна» _____	154
Иосиф Бродский. «Сан-Пьетро» _____	157
Иосиф Бродский. Венецианские строфы (1) _____	160
Иосиф Бродский. Венецианские строфы (2) _____	162
Иосиф Бродский. «В Италии» _____	164
Иосиф Бродский. «Лидо» _____	165
Иосиф Бродский. Посвящается Джироламо Марчелло _	166
Иосиф Бродский. «С натуры» _____	167

ФЕСТИВАЛИ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ GENESIS PHILANTHROPY GROUP, ЧАСТНЫХ СПОНСОРОВ И ФОНДА АВИ ХАЙ

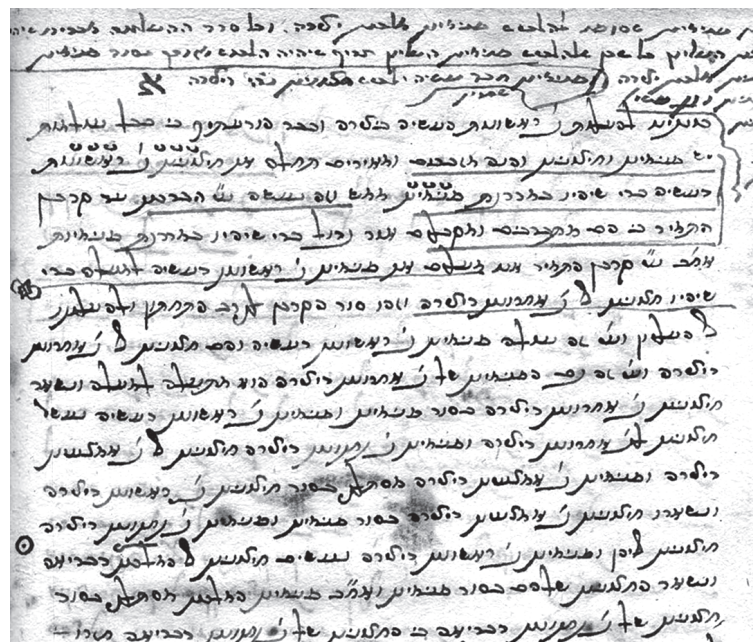
THE ESHKOLOT FESTIVALS ARE SUPPORTED BY GENESIS PHILANTHROPY GROUP, PRIVATE DONORS AND THE AVI CHAI FOUNDATION



www.eshkolot.ru

Материалы к мини-курсу Йоэля Регева

Цфат в Венеции: лурианская каббала на итальянской почве



Study materials for Yoel Regev's mini-course

Safed in Venice: Lurianic Kabbalah in Italy

Рабби Менахем Азарья из Фано

«Асара маамарот», маамар хикур дин , часть 4, глава 17

המשכילים יזהירו עם מה שאמר יהונתן לדוד אתה תמלוך על כל ישראל ואנכי אהיה לך למשנה וגם שאול אבי יודע כן כי הידיעה לא תאמר אלא בדברים האמתיים העתידיים להתקיים על כל פנים וגם שאול כשפייס את דוד אחרי כרתו את כנף המעייל במערה לאות שלא רצה לחבול בו אמר לו ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל והן שלש מלכויות לאדם לדוד ולמשיח כי ביד משיח לבדו תתקיים ממלכת ישראל כאמרם ז"ל שפירושו ממלכת שפלה היא חלק המשנה ותקם ביד משיח בעל המלוכה האמתית שיהיה המשנה נשמע אליו לגמרי וכבר זכרנו כי היה יהונתן שמח וחפץ להיות לו למשנה כי אמנם נפש יהונתן נקשרה בנפש דוד כקטן נתלה בגדול הוא שדוד מקונן עליו נפלאה אהבתך לי כי אין השכל סובל מדרך הטבע שיהיה בן המלך אוהב את עבדו עד שיושיבהו לרצונו על כסא אביו והוא יהיה לו למשנה אלא אמר דוד מאהבת נשים אמותינו זו לזו שרחל מסרה סימנין ללאה ולא נתקנאה בירך אחותה משם התחילה אהבתך לי שלא היית מקנא בי והיה זה וזה מהפלא העליון שאין בו טעם ומשביע לכל חי רצון בלא קנאה ובלא תחרות והוא אשר חפץ עשה שתושיב קטנה את הגדולה באפריון ותעשה לה שושבינות וכן במשפט המלך להיות בנימין צעיר כונן ליהודה כסאו נמצאו לפי זה שני מיני זוג לאדם אחד כרחל ליעקב שהיתה בת זוגו ממש בתולדות הנשמות מזווגן של הקב"ה וכנסת ישראל על זה נאמר עזרי מעם ה' כמה דאת אמר אעשה לו עזר כנגדו ואחד שלא מדין התולדות אלא ברחמים כזיווגה של לאה כמה דכתיב מאין יבא עזרי כי הפלא העליון נקרא אין כנודע וכן כתיב והחכמה מאין תמצא יאמר נא צדיקו של עולם דכתיב ביה הצדיק אבד אשא עיני שתי מדות שעליו אל ההרים שלשה שעליהן מאין פלא כליל תלת יבא עזרי כדאמרן והוא באמת יחוד נפלא פשוט וברור בשפת אמת והאומר המזמור הזה בכוונה בסוף כל תפלותיו קודם עקירת רגליו מזמנין לו בת זוגו הוגנת לו אם בתולדות ואם ברחמים והמבקש רחמים על הזווג העליון לפי הכוונה שזכרנו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה למען יזכה לאתערא מתתא ולהיות שושבין לעילא.

И поймут просвещенные сказанное Йонатаном Давиду: «воцаришься ты над Израилем и буду я наместником твоим, и также и отец мой, Шауль, ведает об этом». Ибо «ведает» говорится лишь о событиях истинных, которые исполнятся в будущем. И также и Шауль, дабы умиротворить Давида, после того, как отрезал тот кусок от одеяния его в пещере, в знак того, что не хотел наносить физический урон, сказал ему: «Ведаю я, что воцаришься ты, и рукою твою упрочится царство Израиля». И вот, есть три царства: Адама, Давида и Машиаха; и только руками Машиаха по настоящему упрочится царство Израиля, как сказали о том наши мудрецы, объяснившее, что это – царство низшее, царство наместника, и упрочится оно лишь руками Машиаха, обладателя подлинной власти, и будет наместник полностью подчинен ему. И уже сказали мы выше, что Йонатан с радостью подчинился Давиду и желал этого, ибо связана была душа Йонатана с душою Давида, подобно тому, как душа малого связывается с душой большого; и потому и сказал Давид, оплакивая его: «Чудесна любовь твоя ко мне» – ибо противоречит рассудку и путям природы, чтобы настолько любил сын царя слугу своего вплоть до того, чтобы возвести его по собственному желанию на трон отца своего, а самому стать наместником его. И продолжил Давид: «подобно любви женщин» – праматерей наших – «одна к другой»; ибо Рахель передала знаки Лее, и не было в ней ревности к сестре ее, и оттуда – исток любви твоей ко мне, и отсутствия ревности в тебе ко мне. И исток того и другого – в сокрытом чуде великом, в котором не отыщешь смысла; и насыщающий всякое желание живое, без соревнования и ревности, что восхотел, то и свершил, и сделал так, чтобы младшая возвела старшую на ложе, и сделалась брачной свитой ее; и таков же закон царей: Беньямин, младший, готовит для Йегуды трон его.

И вот, в соответствии с этим, две пары есть у человека: одна – как Рахель у Йакова, бывшая подлинной парой ему по происхождению души от самого сочетания Пресвятого, Благословен он, и Общины Израиля, и об этом сказано: «Помощь мне от Господа», подобно говорящемуся: «Сотворю ему помощь напротив него». Другая же пара – не по закону происхождения, но по милости, подобно Лее, как сказано «Откуда /из ничто/ придет помощь мне»; ибо высшее чудо называется «ничто», как известно о том; и также сказано «а мудрость – из ничто найдена будет».

И скажет пусть о том праведник мира, о коем сказано «праведник исчезающий», «вознесу глаза свои» – две меры свои – «к вершинам горным» – это третье – и над ними «из ничто» – чудо – включающее в себя три, /и оттуда/ «придет помощь мне», как сказано. И это – воистину единение чудесное, простое и ясное, изложенное языком истинным; и всякому, произносящему псалом этот с намерением надлежащим по окончании молитвы его уготована будет пара его, по закону происхождения ли, или же по милости. И всякий просящий милости для соединения высшего в соответствии с упомянутыми интенциями, и сам нуждающийся в том же – будут услышаны молитвы его, и получит он первым /то, в чем нуждается/, дабы удостоился он пробуждения снизу и быть свитою брачной сверху.

Рабби Нафтали из Франкфурта

«Шаар ха-ахана»

ד>ש< משה השיג בסוד הדעת עד כתר עליון, ועל זה יהי קשה: אם משה זכה זה בצדקתו, למה יהי בלתי אפשרי שישגיג עוד צדיקים אחרים כמותו; הלא האדם הוא בעל בחירה ובבחירתו תליא... לזה חוזרין לתחילת התורה בראשית שפירושו בחכמ' תא; אם כן כיוון שבריאת העולם מתחיל בחכמה שנקרא "יש" והכתר נקרא "אין" אי אפשר לשום אדם שהוא תחת הבריאה להשיג הקדום. והוא סוד לאה שעולה עד הכתר. ומשה היה בסוד לאה ומרומז בקרא <בפסוק> "ויאל משה לשבת את האיש" ראשי תיבות "לאה"; וגם כן "תפילה למשה איש האלוהים" ראשי תיבות לאה. וכן נרמז בכמה דוכתי <מקומות> שלאה לא היתה ראויה להיות בקדושה כי אם בחלקו של עשו וזהו נרמז בתיבת בראשית שהוא ראשי תיבות "בשביל תמימות אברהם יצחק יעקוב שרה רבקה רחל" ברא אלוהים את השמים ואת הארץ: הרי נזכרו שלשה אבות ושלושה אמהות ולא נזכרה לאה ואחר כך נכנסה לקדושה אצל יעקוב...

וב"עשרה מאמרות" הובא שלאה תכנס לקדושה לעתיד וזהו "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו וגו'", לשפוט את הר עשו – ראשי תיבות לאה ואחר כך כתיב "עשו", שאז נלקח אותה מחלקו של עשו לקדושה. ולכוארה דברים אלו סותרים זה את זה דכאן אמר דיעקוב הכניס אותה לקדושה וכאן אמרין <אומרים> שאז בימי המשיח תכנס לקדושה... אומנם נירא לי כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים והן כבשונו של עולם כי חס מלומר כן שלאה לא היתה בקדושה חס ושלום מימות העולם; רק הכוונה היא כי לאה היא בסוד הכתר אשר אי-אפשר להשיג מדרגה זו בזה העולם מחמת שליטת הקליפות וסמאל הוא ראש הק' ליפה שרו של עשו הוא נרגן מפריד ומעכב בחטאינו להשיג עד כה... וזהו הכוונה "לאה נפלה בחלקו של עשו": שנפלה בחלקו, שהוא מעקב גודל השגתה שלא נשיג אותה עד לעתיד ימות המשיח אשר אז... נוכל להשיג אותה קדושה...

И знай, что тайна постижения Моше – ведение, восходящее до высшего венца... И это – тайна Леи, восходящей до сферы «кетер»... И можно задаться вопросом: если удостоился Моше подобного постижения благодаря праведности его, отчего невозможным и иным праведникам удостоиться подобного? Ведь наделен человек свободой выбора, и от выбора его все зависит. И /для того, чтобы ответить на этот вопрос/ возвращаются к началу Торы – «Берешит», то есть – «с помощью мудрости». И потому, раз творение мира начато было с мудрости, называющейся «сущее», а венец называется «ничто», невозможно ни для какого человека, находящегося под властью творения, постичь предшествующее – древнее... И это – тайна Леи, восходящей до высшего венца. Моше же был в тайне Леи, как намекает на это стих «Молитва Моше, человека божьего» – из начальных букв этих слов составляется имя «Лея». И в нескольких местах намекается также на то, что Лея не должна была быть принадлежащей к святости, но была уготована в долю Эсау, и на это и намекает слово «Берешит», буквы которого представляют собой анаграмму, означающую «Ради непорочной цельности Авраама, Ицхака, Йакова, Сары, Ривки и Рахели» создал Бог небеса и землю. И вот упомянуты тут трое праотцев и трое праматерей, а Лея не упомяната, после же была введена она в область святости Йаковом.

И указывается в книге «Асара маамарот», что в будущем войдет Лея в область святости, и об этом сказано «И поднимутся спасенные на гору Сион судить гору Эсава», и из первых букв слов «судить гору Эсава» составляется слово Лея, ибо тогда будет выведена она из-под власти Эсава и введена в область святости. И казалось бы, есть в этом противоречие: ибо сказано ведь, что Йаков ввел ее в область святости – а здесь говорится, что лишь во дни Машиаха будет введена она в область святости... Однако то и другое – слова Бога живого, и это – великая тайна. Упаси Бог сказать, что не была Лея принадлежащей святости когда бы то ни было; но указывает Лея на тайну венца – на ступень, постижение которой невозможно в этом мире... И это-то и подразумевается сказанным «Лея оказалась отданной в долю Эсау»: была отдана ему в долю, ибо он – великая помеха к постижению ее, не дающий постигнуть ее вплоть до дней Мессии... а в них – сможем мы постигать ее в святости.

Рихард Вагнер

ТАНГЕЙЗЕР

и состязание певцов в Вартбурге
(Вторая, окончательная редакция драмы)

Акт I

Действующие лица

Герман, Ландграф Тюрингенский

Тангейзер,

Вольфрам фон-Эшенбах,

Вальтер фон-дер-Фогельвейде,

Битерольф,

Генрих дер-Шрейбер

Рейнмар фон-Цветер,

Елизавета, племянница Ландграфа.

Венера.

Молодой пастух.

Тюрингенские рыцари, графы и вассалы. Благородные дамы.

Пажи. Старшие и младшие пилигримы.

Три Грации. Сирены. Наяды. Нимфы. Вакханки. Юноши. Амурь. Сатиры и Фавны.

МЕСТА ДЕЙСТВИЯ

Первый акт – внутренность Хёрзельберга близ Эйзенаха; долина перед Вартбургом.

Второй акт – зал певцов в Вартбурге.

Третий акт – долина перед Вартбургом.

Время действия – начало XIII столетия.

ПЕРВЫЙ АКТ

Внутренность Венериной горы (Хёрзельберг близ Эйзенаха)

Глубокий грот, на заднем плане делающий поворот вправо и как бы уходящий в бесконечность. Сверху из расселины, пропускающей слабый дневной свет, вдоль всего свода низвергается зеленоватый водопад, бурно пенящийся в камнях; из образующегося бассейна течёт по направлению к заднему плану ручей, в самой глубине сцены расширяющийся в озеро. Там виднеются фигуры купающихся Наяд; по берегам озера расположились Сирены. С обеих сторон грота – скалистые выступы неправильной формы, поросшие причудливыми, коралловидными тропическими растениями. Слева, ближе к переднему плану, уходит вверх пещерообразное ущелье, источающее нежный розовый полусвет. Перед этой пещерой, на авансцене, покоится на великолепном ложе Венера; возле ложа склонился Тангейзер, положив голову на колени богини; рядом с ним – его арфа. Вокруг ложа в пленительно-сплетающихся позах расположились три Грации. В стороне и позади ложа спит множество маленьких Амуров, беспорядочно скучившихся один подле другого и друг на друге, в виде спутанного клубка, – подобно утомившимся от борьбы и уснувшим детям. – Весь передний план освещён чудесным красноватым светом, проникающим снизу; сквозь эту алую дымку сильными пятнами пробиваются изумрудно-зелёный тон водопада и белизна его пенящихся волн. Отдалённая глубина заднего плана с берегами озера окутана сияющей голубой мглой, словно озарённая лунным светом.

При самом поднятии занавеса на высоких скалистых уступах видны юноши с чашами в руках; но вскоре они, соблазнённые манящими телодвижениями Нимф, спешат к ним вниз. Нимфы заводят призывный хоровод вокруг пенящегося бассейна, увлекая юношей: образуются пары и группы. Искание, убежание и грациозное заигрывание оживляют танец.

Из отдалённой глубины заднего плана приближается вереница Вакханок; они шумно влетают в ряды влюблённых пар, возбуждая их к бурному веселью. Жестами и движениями, преисполненными восторженного опьянения, Вакханки разжигают влюблённых, несдержанность которых всё растёт и растёт. – Опьянённые любовью порывисто и страстно обнимают друг друга. Из ущелий появляются Сатиры и Фафны, пляской своей врезаясь в толпу Вакханок и влюблённых пар. Охотясь за Нимфами, они увеличивают разгульную сумятицу; всеобщее опьянение возрастает и доходит до величайшего неистовства.

В момент крайнего любовного исступления с ужасом поднимаются три Грации. Они стараются удержать и разобщить беснующихся. Но Грации не в силах остановить разыгравшейся бури, которая грозит увлечь их самих; тогда они обращаются к спящим Амурам, расталкивают их и заставляют взлететь к сводам грота. Порхая в вершине, подобно стае птиц, Амуры занимают всё верхнее пространство грота: там они как бы выстраиваются в боевой порядок и пускают вниз на беснующуюся в глубине толпу целые тучи стрел. Раненые, охваченные могучим любовным томлением, прекращают бешеный танец и в изнеможении опускаются на землю. Грации овладевают ранеными; соединяя опьянённых попарно, они мягким принуждением стараются рассеять их в глубине заднего плана. Там Вакханки, Фавны, Сатиры, Нимфы и юноши, – частью гонимые Амурами и с верхних уступов, – расходятся по разным направлениям.

Розовый туман, всё более и более плотный, опускается на сцену: в нём исчезают сначала Амуры, затем он густыми облаками заволакивает весь задний план, – так что в конце концов, кроме Венеры и Тангейзера, видны только три Грации. Последние возвращаются теперь на авансцену; сплетаясь в прелестные группы, они приближаются к Венере, возвещая ей о победе, которую они одержали над бурными страстями подданных её царства. Венера взирает на них с благодарностью.

Голоса невидимых Сирен

К нам, к нам плывите!

В край наш спешите!

Он вашей страсти

даст утоленья!

В наших объятьях –

сон и забвенье!

Облака на заднем плане расходятся, открывая туманную картину похищения Европы, которая плывёт по голубому морю на спине белого быка, украшенного цветами, в сопровождении Тритонов и Нереид. Розовый туман опять закрывает глубину сцены, видение исчезает, и Грации прелестным танцем выясняют таинственное содержание картины, как могучее деяние любви. – Голоса Сирен звучат вдали.

Снова раскрывается туманная завеса. В мягкой лунной мгле видна Леда, лежащая на берегу лесного озера; к ней подплывает лебедь и, ласкаясь, прячет свою шею на её груди. Бледнея, постепенно исчезает и это видение. Наконец, розовый туман в глубине совершенно рассеивается, открывая весь грот, – пустынный и тихий. Грации с лукавой улыбкой склоняются перед Венерой и медленно удаляются в грот любви.

Глубочайший покой. – Неизменившаяся группа Венеры и Тангейзера.

Тангейзер вздрагивает и быстро поднимает голову, словно пробуждаясь от сна. Венера ласковым движением снова привлекает его к себе. Тангейзер проводит рукой по глазам, как бы стараясь удержать сновидение.

Венера

(очень спокойно).

Приди в себя, друг милый мой!

Тангейзер

(быстро).

Мечта! Мечта!

(Медленнее и тихо)

О, сонных грёз

обманы!

Венера

(спокойно ласкаясь).

Чем же ты взволнован?

Тангейзер

Объятый сном, услышал я

давно забытых звуков тень:

я благовест приветливый услышал...

Когда звучал он мне в последний раз?

Венера

(по-прежнему).

Чем ты смущён? Что так томит тебя?

Она нежно проводит рукой по его челу.

Тангейзер

(грустно).

Часы и дни бегут, – я счёта им

не знаю: зимы, вёсны, – для меня

их нет; ведь я давно не вижу солнца,

мне не мерцают ласковые звёзды;

не вижу муравы полей цветущих,

что лето вновь несут; и в час ночной

мне соловей не возвещает Мая...

(Живо)

Иль для меня он навсегда умолк?

Венера

(в спокойном удивлении).

Ха! Что я слышу! – Какие речи!

В дарах моей любви чудес так много, –

ужель в блаженстве ты скучаешь? Разве

быть божеством мой друг уже устал?

Но ты забыл, какие ты терпел
страданья, – только мной ты был спасён!
(Поднимаясь)
Певец мой, встань, – и возьми в руки арфу!
(Она берёт арфу и подаёт ему.)
Прославь союз наш, – ты любовь поёшь так дивно,
что и меня, богиню страсти, ты пленил!
Любовь вручила величайший дар тебе!

Тангейзер, внезапно приняв энергичное решение,
берёт арфу и торжественно становится перед Венерой.

Тангейзер

Я твой певец! Бесценна та награда,
что мне, счастливцу, мощь твоя дарит!
Всех благ славней чудес твоих отрада,
и петь ей гимны сердце мне велит!
В истоме чувств всю чашу наслаждений
до дна испить так жадно я хотел:
чем только боги прежде упивались, –
всё ты дала мне, смертному, в удел! –
Но смертный всё ж здесь пред тобою, –
твоей любви, ах! я не стою:
удел богов – блаженный сон,
а я для смены чувств рождён;
одних утех мне мало моря,
и в счастья сердце жаждет горя! –
Вне жизни жить я не могу!
Богиня! Друг мой! Я бегу!

Венера

(словно пробуждаясь от сна)
Какие звуки! Что с тобой?
Как мрачно кончил ты свой гимн!
Скажи, где твой огонь, певец,
что лишь восторгом мне пылал?
Где он? Ужель моя любовь поблекла?
О, милый! Молви, в чём виновна я?

Тангейзер

(ударяя по струнам арфы).
Честь, честь тебе, любви твоей могучей!
Блажен на веки, кто её вкусил!
Да, счастлив тот, кто страстью сердца жгучей
в твоих объятьях страсть богов делил!
Твои владенья – царство вечной грёзы,
мне веет здесь дыханье красоты;
таких соблазнов нет нигде на свете:
всё, что там есть, легко отбросишь ты...

Но я из этой дымки алой
на землю вновь стремлюсь, усталый...
Там так прозрачен свод небес,
там шелестит зелёный лес,
там пенье птичек нежно льётся,
там милый сердцу звон несётся...
И только там я жить могу!
Богиня! К людям я бегу!

Венера

(соскакивая со своего ложа).
Изменник! Ах! Меня ты оскорбляешь?
Презреть мою любовь ты смеешь дерзко?
Ей гимн поёшь, – и сам её бежишь?
Постыла прелесть чар моих тебе?

Тангейзер

Ах, не гневись, прекрасная богиня!

Венера

Постыла прелесть чар моих тебе!

Тангейзер

Лишь прелестью безмерной ты страшна мне!

Венера

О, злой предатель! Лживый, лицемер!

Тангейзер

Нет, я люблю сильнее, глубже, чище, –
теперь, сказав навек тебе прости!

Венера

Останься здесь! Не смеешь ты уйти!

Она с криком отвернулась в сторону, закрыв лицо руками. – Долгое молчание. Затем Венера снова начинаеи ловить взор Тангейзера, внезапно оборотясь к нему с обольстительной улыбкой. – По её знаку появляется волшебный грот, на который она указывает Тангейзеру.

Венера

(начиная тихим голосом).
Взгляни, нас манит грот услады, –
там розы алый запах льют;
там сами боги были б рады
найти для тайных ласк приют...
Покоясь на пуховом ложе,
ты можешь там со мной уснуть;
зефир чело твоё обвеет
и сладкий жар проникнет в грудь...
(Стараясь нежно привлечь его к себе)
О, милый друг, приди ко мне! Приди!

Голоса сирен

(очень издалека).

В край наш плывите!..

Венера

Ты слышишь, к нам зывают звуки песен,

чтоб стал союз наш неразрывно тесен!

Из уст моих, с очей лучистых

ты мёд богов глотнёшь,

ты цвет любви сорвёшь:

свой мир скорбей ты вновь забудь беспечно, –

пусть нашей страсти праздник длится вечно!

Ты робких жертв не приноси любви:

как бог, с богиней праздно век живи! –

Что ж, нежный друг, – я жду ответа: ты уйдёшь?..

Тангейзер

(взволнованный в высшей степени, ещё раз порывисто хватается за арфу)

Ты вечный светоч мой, и гимн хвалебный

я буду петь всегда тебе одной!

Ты украшаешь жизнь мечтой волшебной,

и всё живое слышит голос твой!

Тот жар богов, что ты влила мне в сердце, –

пылай огнём ярчайшим в честь твою!

Да, быть твоим борцом пред всей вселенной

навек клятву я тебе даю! –

Но должен я бежать на землю:

тебе, как раб, я молча внемлю!

Пусть вольно грудь вздохнёт моя, –

свободы, воли жажду я!

Хочу борьбы, хочу врагов, –

я вызвать смерть на бой готов!

Без бури жить я не могу!

Прощай, богиня! Я бегу!

Венера

(в сильнейшем гневе).

Ступай, ступай, безумец!

Ступай! Беги, изменник!

Да, ты свободен стал!

Я не держу тебя!

Ступай! Несчастный!

Ты пожелал своей судьбы!

Иди! Иди!

Да, к ним, к холодным людям, беги!

От их туманной, злой тщеты

наш светлый род богов бежал

и скрылся в лоне тёплом земли...

Ступай, безумец, – счастья ищи!

Счастья ищи, – его там нет!
 Та, чью любовь презрел ты дерзко,
 чью гордость победно ты разбил, –
 та может дать пощаду:
 забыв презренье, милости проси!
 Сверкай тогда позор твой, –
 богини стыд превратился в смех!
 Отвержен, проклят, ты идёшь ко мне,
 опустив так низко взоры: –
 «О, если б мне ещё раз
 она улыбнулась!
 Ах, если б мне вновь открылись
 врата её блаженства!»
 На пороге простерт,
 там в слезах он лежит,
 где вкушал безбрежную радость!
 Он жалость вызвать хочет, –
 только жалость!
 Назад! Уйди, нищий!
 Скройся, раб! Лишь герои
 входят в мой чертог!

Тангейзер

Нет! Я горд, –
 и над моим бесчестьем
 ты вовек
 слёз не будешь лить!
 С тобой я прощаюсь, богиня,
 и никогда
 не вернусь назад!

Венера

(с криком ужаса).
 Ха! Ты скрылся навсегда! –
 Что сказал он?
 Что сказала я?
 Как? Навсегда?
 Непостижимо!
 И невозможно!
 Мой певец ушёл навсегда?! –
 (После некоторого молчания)
 За что такой тоскою
 судьба меня карает, –
 за что не даст простить
 того, кто так мне мил?
 Ужель любви царица,
 богиня благ великих,
 не смеет в час беды

лаской друга утешить?
Ты помнишь, я
в томленьи сладком
сквозь слёзы улыбалась,
твоей внимая песне, –
давно умолкшей хвале...
О! Разве мог
герой мой помыслить,
что холодной я останусь,
услыхав его души
терзанья, жалобы, стоны?
Последнюю радость
я здесь нашла с тобой, –
и меня ты не отвергнешь!
Презреть ты не можешь
чар моих!
(Впадая в отчаяние)
Ах, вспомни обо мне, –
иль весь твой мир
будь проклят мной!
Пусть навек опустеет он,
утратив мой огонь! –
(Умоляя в полном отчаянии)
Вернись! Вернись же!
Ласкам богини доверься!

Тангейзер

Кто тебя бежал, богиня,
тот всяких ласк бежал!

Венера

Не гони горделиво томленья,
обо мне тоскуя в беде!

Тангейзер

Борьбы томлюсь я жаждой, –
не надо мне услад!
Пойми меня,
пойми, богиня!
(Бурно)
Я о смерти тоскую,
и смерть влечёт меня!

Венера

Возвратись, если смерть не придёт
и могила не примет тебя!

Тангейзер

Я в сердце смерть
и могилу ношу!

В слезах покаянных
я мир и покой найду!

Венера

Мир тебе заповедан!
Не найдёшь ты покоя!
Вернись ко мне, –
если хочешь спастись!

Тангейзер

Богиня любовных утех!
Нет, моей душе
ты спасенья не дашь!
Покой даст мне Мария!

Ужасный громовой удар. Венера исчезает. Быстрое превращение сцены. Тангейзер, оставшийся на месте, внезапно оказывается перенесённым в прекрасную долину. Голубое небо, ясное солнечное освещение. – Справа в глубине сцены виднеется Вартбург; слева, сквозь дольную прогалину, – Хёрзельберг. – С половинной высоты долины, направо, идёт вниз горная дорога по направлению от Вартбурга к авансцене, где она сворачивает в сторону; тут же на переднем плане находится изображение Божьей Матери, к которому ведёт низкий выступ горы. С высот налево раздаётся звон колокольчиков пасущегося стада; на высоком выступе горы, лицом к долине, сидит молодой пастух и играет на свирели.

Пастух

Ходила Хольда гулять из гор,
и где богиня гуляла,
там сладких звуков слышу я хор,
чудес там вижу я не мало.
(Он играет.)

Приснился мне волшебный сон;
и вот, когда растаял он, –
в лучах земля сияла:
весна, весна настала!
Ну, веселей, свирель, играй:
вот Май пришёл, весёлый Май!

Он играет на свирели. – Вдали раздаётся пение старших пилигримов, приближающихся по горной дороге со стороны Вартбурга.

Пение старших пилигримов.

К тебе иду, Иисус Христос, –
надеждой дух мой ты вознёс!
Со мной, Мария Дева, будь!
Благослови спасенья путь!

Пастух, услышав пение, прекращает игру на свирели и набожно внимает голосам пилигримов.

Пилигримы

Моих грехов так тяжек гнёт, –
терпеть их я не в силах боле!

Покой мне счастья не даёт, –
я рад тернистой, скорбной доле...
В заветном граде, светлым днём,
покаюсь я в грехе моём;
кто твёрдо верит, тот спасён:
прощенья весть услышит он!

Пастух, махая шляпой, громко кричит пилигримам, когда они появляются на горе против него.

Пастух

Дай Бог! Счастливым путь!
И за меня молитесь в Риме!

Тангейзер, который всё время стоял посреди сцены, словно приросший к месту, в сильном потрясении падает на колени.

Тангейзер

Хвала тебе, Творец!
О, как велик ты в милосердьи!

Шествие пилигримов, проходя по горной дороге мимо изображения Божьей Матери, сворачивает налево и таким образом постепенно покидает сцену. Пастух со свирелью тоже удаляется в горы, – колокольчики стада слышны всё дальше и дальше.

Пилигримы

К тебе иду, Иисус Христос, –
надеждой дух мой ты вознёс!
Со мной, Мария Дева, будь!
Благослови спасенья путь!

Тангейзер

(На коленях, забывшись в горячей молитве).
Моих грехов так тяжек гнёт, –
терпеть их я не в силах боле!
Покой мне счастья не даёт, –
я рад тернистой, скорбной доле...

Слёзы душат его; он склоняет голову низко к земле и, видимо, рыдает. – Очень издалека, со стороны Эйзенаха, доносится колокольный звон.

Голоса пилигримов

(замирая в отдалении)
В заветном граде, светлым днём,
покаюсь я в грехе моём;
кто твёрдо верит, тот спасён...

Вдали раздаются звуки охотничьих рогов. По мере того, как они постепенно приближаются, далёкий благовест умолкает. С высоты налево, по лесной тропе, спускаются один за другим на сцену Ландграф и певцы, – все в охотничьих одеждах.

Ландграф

(с половинной высоты замечая Тангейзера).
Кто там склонился в пламенной молитве?

Вальтер

Так, кто-нибудь...

Битерольф

Но он одет, как рыцарь!

Вольфрам

(прежде всех спешит к Тангейзеру и узнаёт его).

Наш Генрих!

Певцы

Генрих! Генрих! Это он!

Тангейзер, застигнутый врасплох, быстро вскакивает на ноги; он овладевает собой и молча склоняется перед Ландграфом, бросив беглый взгляд на него и на певцов.

Ландграф

Ты возвратился? Хочешь снова в круг
вступить, что так надменно ты покинул?

Битерольф

Но что ты нам теперь с собой приносишь?
Доверье, – или вновь мы вступим в бой?

Вальтер

Ты ныне друг нам, или враг?

Остальные певцы, кроме Вольфрама

Ответь!

Вольфрам

Ах, полно вам! Ужель врагом он смотрит?
(Он дружелюбно подходит к Тангейзеру.)
Привет тебе, певец отважный, –
тебя так долго не хватало нам!

Вальтер

Привет мой, если добр ты стал!

Битерольф

Привет мой, если рад ты нам!

Все певцы

Привет, привет! Привет тебе!

Ландграф

Прими и мой привет, певец!
Скажи, где был так долго ты?

Тангейзер

Я странствовал вдали, вдали от вас, –
там, где меня покой бежал всегда...
Ну, что ж! Я распри с вами не начну, –
вы мне друзья, – но дальше я пойду...

Ландграф

О, нет! Ты нашим стал опять сегодня!

Вальтер

Ты не уйдёшь!

Битерольф

Не пустим мы тебя!

Тангейзер

Нет, нет! Я отдыхать не должен, –

мне надо тотчас в новый путь!

Дано мне лишь вперёд стремиться, –

не смею я назад взглянуть!

Ландграф и певцы

Зачем? Ты должен здесь остаться,

не пустим мы тебя от нас!

Ты нас искал, – тебя мы ждали!

Отраден нам свиданья час!

Тангейзер

(вырываясь).

Прочь, прочь отсель!

Певцы

Останься здесь!

Вольфрам

(загораживая путь Тангейзеру и возвышая голос)

Вблизи Елизаветы!

Тангейзер

сильно и радостно поражённый, останавливается как очарованный.

Елизавета! – О, силы неба!

Какое имя назвал ты!

Вольфрам

Да, это имя назвал я тебе,

как друг!

(Обращаясь к Ландграфу.)

Дозволь мне, государь, ему

поведать, как он счастлив стал?

Ландграф

Пусть он узнает силу чар своих;

дай Бог, чтоб он, как рыцарь,

достойно разрешил их!

Вольфрам

Когда боролись в пеньи мы с тобою,

победы блеск тебе порой сверкал;

порой и мы в бою тебя сражали, –

но был венец, что ты один стяжал...
 Святым огнём, иль силой чар
 невинность девы ты пленил?
 Певца волшебный, дивный дар
 восторг и слёзы ей внушил!
 Увы, когда ты нас покинул,
 румянец щёк её погас;
 ей наши песни стали скучны, –
 в тоске она забыла нас! –
 Явись же вновь певцом-поэтом, –
 пред нею с нами пой опять!
 И в зале песен ярким светом
 нам будет вновь она сиять!

Певцы

Вернись же, Генрих, в круг наш тесный!
 Пусть смолкнут гнев и злой разлад!
 Яви нам вновь свой дар чудесный
 и с нами пой, как друг и брат!

Тангейзер, глубоко растроганный, бросается в объятия Вольфрама, затем приветствует поочерёдно каждого из певцов и с сердечной благодарностью склоняется перед Ландграфом.

Тангейзер

Друзья, идём! Ах, к ней, скорее к ней! –
 Ха! Ты теперь опять мне дорог,
 прекрасный мир! Да, я воскрес!
 Смеётся небо мне приветно,
 ласкает взоры вешний лес!
 Весна несметным роем звуков
 поёт свой гимн в душе моей!
 В томленьи бесконечно-нежном
 я слышу зов: скорее к ней!

Ландграф и певцы

Он снова наш, – какое чудо!
 Явился, – как тогда исчез!
 Та мощь, что дерзкий дух смирила,
 исходит от святых небес!
 Отныне слух прекрасной девы,
 как прежде, будет нам внимать!
 Весенних, светлых дней напевы
 в груди певцов должны звучать!

Тем временем на сцене мало по малу собирается весь охотничий отряд Ландграфа, – с сокольничими и пр. Охотники трубят в рога. К концу сцены уже вся долина кишит людьми. Ландграф и певцы поворачиваются к охотникам. Ландграф трубит в свой рог, – зычные звуки рогов и лай псов ему отвечают. – В то время как Ландграф и певцы садятся верхом на лошадей, которых им привели из Вартбурга, занавес падает.

Акт II

Зал певцов в Вартбурге. В глубине сцены – открытый вид на двор и долину. – Елизавета входит в радостном возбуждении.

Елизавета

О, светлый зал мой, здравствуй снова!
Вновь ты мне мил, уют певцов!
В тебе его проснутся песни, –
и я проснусь от мрачных снов!
Как он тебя покинул,
пустынным ты мне стал...
Тоска проникла в сердце,
унынье – в дивный зал!
Теперь в груди трепещет радость,
теперь и ты мне стал сиять:
кто жизнь тебе и мне дарует,
тот ныне будет здесь опять!

Она видит Тангейзера, который входит в сопровождении Вольфрама, поднимаясь с ним по лестнице в глубине сцены.

Вольфрам

(Тангейзеру)

Ты видишь? – Смело сам приблизься к ней!

Он прислоняется к балюстраде балкона в глубине, где и остаётся в течение всей последующей сцены. – Тангейзер в бурном порыве бросается к ногам Елизаветы.

Тангейзер

Принцесса!..

Елизавета

Ах! Это вы! – Нет, нет! –
Мне с вами быть нельзя!

Она делает движение, чтобы удалиться.

Тангейзер

Бежишь? – Оставь, оставь
меня у ног своих!

Елизавета

(с приветливой улыбкой поворачиваясь к нему).

Должны вы встать!

Как вы склонились там, где ваше царство,
где всё покорно вам? – Вы встать должны!

Я рада вам, – примите мой привет!

Где были вы так долго?

Тангейзер

(медленно поднимаясь).

Я блуждал

в чужих, далёких странах. – Тьмой забвенья
окутан ныне мой вчерашний день...
Да, всё забыто, чем я жил и грезил...
Но не мечтал я, мысли не лелеял,
что я вас встречу вновь, – что час настанет,
и образ ваш мои глаза увидят! –

Елизавета

Но... что ж тогда вас привело назад?

Тангейзер

Святая мощь, –
высоких сил благое чудо!

Елизавета

(радостно вспыхивая).
Я славлю это чудо, –
счастливым сердцем славлю! –
(в смущении сдерживаясь)
Простите, я не знаю, что со мною...
В тумане я... Слабее, чем дитя, –
нет сил бежать из плена чар чудесных...
Как мне понять себя? – О, Боже мой!
Какая тайна мне смущает сердце? –
Внимать певцам прекрасным
так рада я была:
усладой мне казались
их звучных строф хвала.
Но непонятной, странной жизнью
мне ваш напев затрепетал, –
то слёзы навевал он скорби,
то к радости безумной звал...
Как нов был этот мир восторгов, –
в груди желанья он зажёл!..
Былые чувства уничтожил
блаженных, новых чувств поток! –
И вот, когда от нас ушли вы, –
погибли дни моей весны:
напевы, что другие пели,
мне стали скучны и темны...
Тоскливо я весь день мечтала
и плакала всю ночь во сне...
Погас в душе источник света...
Генрих! Что вы внушили мне?

Тангейзер

(вдохновенно).
Тобою бог любви владеет,
бог знойной страсти, бог огня!

Он, он зажѐг мои напевы,
к тебе он сам привѐл меня!

Елизавета

Я славлю мощь святую,
я славлю светлый час,
что новой, властной силой
сюда приводит вас!
Мне солнце вновь сияет
и льѐт отрадный свет!
Судьба меня ласкает
и жизнь мне шлѐт привет!

Тангейзер

(вместе с нею).

Я славлю мощь святую,
я славлю светлый час,
что новой, властной силой
навек связует нас!
Мне счастье вновь сверкает, –
стремлюсь я жизни в след!
Судьба меня ласкает, –
я рад обнять весь свет!

Вольфрам

(в глубине сцены).

Так грѐза счастья тает, –
ах, мне надежды нет!

Тангейзер расстаѐтся с Елизаветой; он идѐт к Вольфраму, крепко его обнимает и удаляется вместе с ним, спускаясь по лестнице. – Елизавета, выйдя на балкон, следит взором за Тангейзером. В боковой двери появляется Ландграф. Елизавета спешит к нему и прячет лицо на его груди.

Ландграф

Ты снова здесь, в чертоге песен, так
давно тобой забытом? Вновь влечѐт
тебя борьба певцов, что мы готовим?

Елизавета

О, дядя! О, второй отец мой!

Ландграф

Дочь моя,
что в сердце тайно ты скрываешь?

Елизавета

Взгляни мне в очи! Силы нет сказать...

Ландграф

Спокойна будь и тайны сладость
на дне души безмолвно скрой:
придѐт пора, – настанет радость,

и мы услышим голос твой. –
Итак, – те чудеса, что сила песни
посеяла в душе, сегодня он
откроет сам и увенчает грёзу:
да вступит в жизнь волшебная мечта!

Из глубины заднего плана, со двора замка, раздаются звуки труб.

Ландграф

Вот близятся земель моих вассалы, –
на праздник редкий я гостей созвал;
все, как один, спешат сюда: пришла
к ним весть, что праздник этот – в честь тебя!

Трубы во дворе замка. Ландграф и Елизавета выходят на балкон, чтобы видеть прибывающих гостей. Появляются четыре пажа с докладом. Они получают от Ландграфа приказания относительно приёма и т.д. Один за другим входят в зал рыцари и графы со своими дамами и свитой, которая остаётся в глубине сцены; Ландграф и Елизавета принимают гостей.

Рыцари, вассалы и благородные дамы
Мы рады снова видеть зал прекрасный,
где светит нам искусства мирный свет,
где гордо слышат своды клик весёлый:
«Честь, Ландграф Герман! Славься много лет!»

Трубные фанфары. – Собравшиеся гости садятся на отведённые им места, образующие большой полукруг. Ландграф и Елизавета занимают на авансцене почётные места под балдахином. Входят певцы и рыцарским поклоном торжественно приветствуют собрание; затем они садятся на свободные, им предназначенные места, образующие более узкий полукруг в центре зала: Тангейзер занимает место на среднем плане справа, Вольфрам – на противоположном конце слева, лицом к собранию. Ландграф встаёт.

Ландграф

Не мало звучных строф и светлых гимнов
от вас, мои певцы, мы здесь слышали;
загадкой мудрой, песней беззаботной
отраду в сердце вы вливали нам. –
Когда наш меч в кровавых, грозных битвах
за честь и мощь отчизны воевал,
когда со злобным Вельфом мы боролись
и отвратили тем распада гибель, –
тогда и вы себе стяжали славу.
Красотам чувств и добрым нравам,
невинности и вере чистой
искусством добыли вы здесь
венец неблекнущих побед. –
Сегодня тоже дайте праздник нам:
вновь видим мы сегодня здесь того
певца, по ком так долго мы скучали.
В его внезапном возвращеньи в Вартбург

загадочную тайну вижу я;
вы чудом песни нам её раскройте!
И вот, я ставлю вам теперь вопрос:
«как вы любви природу объясните?»
Кто всех сильнее, кто ей достойный гимн
споёт, тому принцесса приз вручит, –
он может пожелать венца любого:
я, Ландграф, за неё даю вам слово! –
Так, песнопевцы! Пусть бряцают струны!
Задача вам дана, – в бой за успех!
Благодарим вперёд сердечно всех!
(Трубы)

Гости

Честь, Ландграф Герман! Честь!
Великий страж искусства, честь!

Все садятся. – Четыре пажа выступают вперёд; обходя певцов, они отбирают у каждого из них свёрнутый листок с его именем и кладут все листки на золотую чашу. Затем они подносят эту чашу Елизавете, которая вынимает один из листков и опять отдаёт его пажам; прочитав имя, пажи торжественно выходят на середину сцены.

Четыре паж

Вольфрам фон-Эшенбах, ты первый!

Они садятся у ног Ландграфа и Елизаветы. – Вольфрам встаёт. – Тангейзер опирается на свою арфу, видимо погружённый в грёзы.

Вольфрам

Здесь пред собой я вижу сонм героев:
мне этот блеск смущает дух и взор...
Так много мудрых, сильных, славой гордых, –
цветущий, стройный лес, могучий бор...
Невинной прелестью сияют жёны, –
благоуханных, юных роз венец...
Мне созерцанье очи опьяняет:
потупя их, невольно смолк певец. –
Средь ярких звёзд одной лишь вдохновляясь,
я на высоты устремляю взгляд:
мечты мои зажглись огнём священным
и набожно молитву ей творят...
И вот – открылся мне родник чудесный,
в него мой дух глядит, восторг тая:
в нём почерпнул я радость благодати, –
и сил живых полна душа моя...
Тех светлых струй я никогда не трону,
желаньем жадным не дерзну смутить:
за чистый ключ, источник счастья вечный,
до капли рад я сердца кровь пролить! –
Герои! Нет в моих словах искусства:

вот существо любви, святого чувства!

(Он садится)

Рыцари и дамы

(в сочувственном движении)

Ты прав! Ты прав! Прекрасна песнь твоя!

Тангейзер, словно пробуждаясь от сна: печать гордого своеволия на его лице сменяется выражением восторга, – он устремляет вдохновенный взор в пространство. Лёгкое дрожание его руки, бессознательно перебирающей струны арфы, и демоническая улыбка на устах показывают, что неведомые чары овладевают им. Когда он, словно проснувшись, энергично ударяет по струнам, – вся его внешность обнаруживает, что он почти уже не сознаёт, где находится, – что он не думает боле о Елизавете.

Тангейзер

О, Вольфрам, в этой песне томной
ты исказил любви закон!
Когда бы мир лишь робко жаждал, –
поверь, давно иссяк бы он!
Склонясь пред Богом, ввысь возденьте очи, –
к небесной дали, к звёздам тайной ночи:
молитесь этим чудесам, –
их не постичь вовеки нам! –
Но что к прикосновенью склонно,
то нас всегда к себе влечёт;
что рождено от той же плоти,
то мягкой формой к телу льнёт! –
Родник блаженных наслаждений,
желанья смелость награди!
Неиссякаем ключ отрадный,
как вечна страсть в моей груди!
Да, чтоб огонь горел мне вечно,
ты услаждай меня, струя! –
Так знай же, Вольфрам, вот в чём сущность
любви бессмертной вижу я!

Всеобщее изумление. На лице Елизаветы отражается борьба чувств, – её восхищение смешивается с робким удивлением. – Быстро и гневно встаёт Битерольф.

Битерольф

Сразись скорей со всеми нами!
Кто не смутится, вняв тебе?
Но мой ответ услышь, мятежник, –
клянусь, не сдамся я в борьбе! –
Любовь дарит мне мощь и крепость,
и за любовь сражаюсь я:
чтоб вечно ей остаться чистой, –
пусть льётся гордо кровь моя!
За честь жены, за скромность девы, –

как рыцарь, бьюсь я до конца;
но то, что ты зовёшь усладой, –
презренно, низко для бойца!

Слушатели

(шумно выражая своё одобрение)
Так, Битерольф! Мы за тебя!

Тангейзер

(загораясь всё более и более)
Ха, дикий волк, не рви же струн!
Ты о любви поёшь, хвастун?
Конечно, друг, тебе чужда
та страсть, что жжёт мне грудь всегда!
Чем насладился ты, бедняга?
Вся жизнь твоя темна, как ночь!
И что тебе сулит блаженство,
то я с презреньем брошу прочь!

Рыцари

(с разных сторон, в величайшем возбуждении).
Пусть он умолкнет! – Нет, мы не потерпим!

Ландграф

(Битерольфу, который хватается за меч).
Оставь свой меч! – Певцы, не надо ссоры!

Поднимается Вольфрам; как только он начинает петь, всё снова совершенно успокаивается.

Вольфрам

О, небо! Будь к нам милосердно!
Мне ниспошли ты благодать,
чтоб мог я вдохновенным гимном
из сонма верных грех изгнать! –
О, свет любви высокой,
сияй нам в этот миг!
Твой луч красой нетленной
вглубь сердца мне проник!
Ты нас ведёшь на небо, –
я рад лететь вослед:
так мы в тот край уходим,
где светит вечный свет!

Тангейзер вскакивает с места и поёт в порыве крайнего восторга.

Тангейзер

Мой гимн, богиня, ты лишь вдохновляешь, –
хвалу тебе я громко здесь пою!
Ты жизнь волшебной страстью украшаешь,
и всё живое чует мощь твою!
Блажен, чьи руки твой покров срывали, –

восторг любви изведаль только тот!
Мне жаль вас, – вы любви ещё не знали!
Скорей, – все, все туда, в Венерин грот!

Все в ужасе и негодовании поднимаются.

Все
Ха! Нечестивец! С нами Бог!
О, стыд! Он у Венеры был!

Женщины

Бежим! Бежим! Скорее прочь!

Все дамы в величайшем смущении и с жестами отвращения покидают зал. – Елизавета, с возраставшим страхом следившая за борьбой певцов, одна из всех женщин остаётся на месте; бледная, она лишь крайним напряжением сил заставляет себя стоять прямо, прислонившись к одной из деревянных колонн балдахина. – Ландграф, все рыцари и певцы покинули свои места и столпились посреди сцены. – Тангейзер, на крайней левой авансцене, ещё некоторое время пребывает в экстазе.

Ландграф, рыцари и певцы
Какой позор! Безбожник сам
свой грех поведал дерзко нам!
Восторги ада он вкушал,
Венеру страстно обнимал!
Ужасно! Гнусно! О, злодей!
В него мечи вонзим скорей!
Проклятым он горит огнём, –
в геену мы его вернём!

Все с обнажёнными мечами нападают на Тангейзера, который принимает вызывающую позу. Елизавета бросается между ними, загоразивая Тангейзера собою.

Елизавета

Стойте все! –
Все останавливаются сильно поражённые.

Ландграф, рыцари и певцы.

Что вижу! Как? За грешника
Елизавета заступилась?

Елизавета

(своим телом прикрывая Тангейзера)
Назад! Готова к смерти я сама!
Мне не страшны удары стали!
Удар смертельный в грудь
уже нанёс он мне!

Ландграф, рыцари и певцы

Что слышу я, что это значит?
Как ты, в порыве ложном сердца,
того от кары избавляешь,
кто и тебя стыдом покрыл?

Елизавета

Что значу я? Не я, а он!
Ужель спасенья он лишился?

Ландграф, рыцари и певцы
Надежды бросил он, – прощенья
нет для него на небесах!
Навек он проклят и отвержен,
навек погиб в своих грехах!

Они снова нападают на Тангейзера

Елизавета

Сдержите гнев! Не вам его судить здесь!
Прочь злобу! Бросьте дальше дикий меч!
Услышьте сердцем чистой девы речь!
Что хочет Бог, то я открою вам! –
Ужель вокруг несчастной жертвы
навек сети чар сплелись?
Ни покаяньем, ни молитвой
ужель не может он спастись?
Хотите вы, борцы за веру,
забыть святой любви закон?
Вы грешный дух сгубить хотите, –
но вам самим что сделал он?
Вот я пред вами: цвет мой юный
одним ударом он сломил...
Он, мной любимый так глубоко, –
ликуя, сердце мне разбил!
Но за него я слёзы лью в молитве,
чтоб он, раскаясь, к небу путь искал!
Пусть грешник падший снова твёрдо верит,
что сам Христос и за него страдал!

Тангейзер, постепенно спустившийся с высоты своего горделивого возбуждения и глубоко рас-
троганный заступничеством Елизаветы, в отчаянии падает ниц.

Тангейзер

О, горе! О, страданье!

Ландграф, певцы и рыцари
(мало по малу успокоенные и тронутые)
Посланник неба, ангел нежный,
вещает нам завет любви...
Взгляни, взгляни, гордец мятежный!
Предателем себя зови!
Ты, дав ей смерть, сам жизнью ей обязан!
Кто станет мстить, вняв ангельским слезам?
Мы не забудем злого преступленья,
но всяк из нас покорен небесам!

Тангейзер

Спасая грешника от ада,
 мне ангела Господь послал:
 увы, святого серафима
 я дерзким взглядом запятнал!
 О, Боже, милосердный царь небесный!
 Моих терзаний в мире нет сильней!
 Прости меня! Грехов объятый мраком,
 я не признал посланницы твоей!

После некоторого молчания Ландграф торжественно выходит на середину сцены.

Ландграф

Ужасным преступленьем дух смущён наш: –
 коварно, в маске лицемерной, к нам
 проник греха и тьмы порочный сын! –
 Мы гоним прочь тебя, –ты с нами быть
 не можешь! Злым стыдом ты наш очаг
 покрыл, и грозно смотрит неба взор
 на этот кров, что дал приют тебе!
 Но можешь ты от вечного проклятья
 спастись одним путём; тот путь, изгнанник,
 я укажу: им должен ты идти! –
 Толпой смиренной пилигримы
 из стран окрестных вдаль спешат:
 вперёд ушли ряды старейших,
 и младших в путь готов отряд.
 Их прегрешенья маловажны,
 но всё же нет покоя им:
 на праздник милосердья светлый
 они идут в священный Рим.

Ландграф, певцы и рыцари

И ты смиренно с ними
 в заветный град иди;
 там, грех свой искупая,
 с мольбой во прах пади!
 Склонись пред ним, Святейшим,
 творящим Божий суд:
 лишь те, кого простит он,
 покой и мир найдут!
 Но бойся без прощенья
 вернуться к нам назад:
 мечи, что здесь склонились,
 позор и зло казнят!

Елизавета

К тебе, Отец небесный,
 дай путь ему найти!

Грех тяжкий милосердно
прости ему, прости!
Молиться дни и ночи
о нём – даю обет:
пусть он до смерти узрит
твой благодатный свет!
Мне так отрадно в жертву
всю жизнь мою отдать:
её моей, о Боже,
я не могу назвать!

Тангейзер

Спасенье как найти мне?
Как небу дать ответ?
Навеки я отвержен,
в душе надежды нет!
Но я хочу молиться,
разбить страданием грудь,
лежать в пыли и плакать:
смиренье – вот мой путь!
О, только б ангел кроткий
не лил тоскливых слёз!
Себя, своё бесчестье
он в жертву мне принёс!

Пение младших пилигримов

(в глубине сцены – звучит снизу, из долины).

В заветном граде, светлым днём,
покаюсь я в грехе моём.
Кто твёрдо верит, тот спасён:
прощенья весть услышит он!

Все невольно умилили бурность своих жестов. Елизавета, словно ещё раз защищая Тангейзера, стала опять против надвинувшейся толпы рыцарей; движением руки она обращает их внимание на исполненное веры пение молодых пилигримов. – Тангейзер внезапно сдерживает страстные проявления своей горести и прислушивается к далёким голосам. Яркий луч надежды вдруг озаряет его. С судорожной стремительностью бросается он к ногам Елизаветы, поспешно и пламенно целует край её одежды и затем, шатаясь от огромного возбуждения, направляется к выходу с криком:

Тангейзер

В Рим!

Он убегает. Все вторят ему вслед:

Да, в Рим!

Акт III

Долина перед Вартбургом.

Слева виден Хёрзельберг, – всё как во второй картине первого акта, но только в осенней окраске. День склоняется к вечеру. Направо, на низком горном выступе перед изображением Божьей Матери, простёрта в молитве Елизавета. С лесистых высот налево на лево спускается в долину Вольфрам; на половинной высоте он останавливается, увидев Елизавету.

Вольфрам

Да, снова здесь она в мольбе простёрта, –
я это часто вижу, одиноко
с высот лесистых нисходя в долину...
Тень смерти ей туманит очи;
но сердце молит дни и ночи, –
всё лишь о нём скорбит она:
любовь святая так сильна! –
Здесь ждёт она паломников из Рима:
уж вянет лист, – пора вернуться им...
С прощёнными вернётся ли он? –
О, дни тревоги, дни сомненья!
Творец, услышь её моления!
Среди осенних, тяжких туч –
о, загорись, надежды луч!

Он хочет спуститься ниже в долину, но в это время слышит пение пилигримов и останавливается. Голоса доносятся очень издалека, медленно приближаясь. Елизавета приближается, прислушивается к пению.

Елизавета

Я слышу песнь! – Они! – Идут толпой!

Вольфрам

Паломники! Звучит напев смиренный, –
о милосердыи Божьем он вещает!

Голоса старших пилигримов
(за сценой)

Поля мои и лесистые горы!
Ты вновь, отчизна, ласкаешь мне взоры!
Оставить рад я посох мой, –
исполнен ныне обет святой!

Елизавета

О, Боже, научи меня, –
и я мой долг исполню свято!

Вольфрам

О, небо, укрепи её, –
и да решится жребий жизни!

Пилигримы

(мало по малу приближаясь к сцене)

Во прах я Христа молил, –
и Он меня благословил:
Господь прощенье мне дарит,
и песня моя к нему летит!

Пилигримы появляются на авансцене справа. Во время последующего они огибают горный выступ и медленно идут вдоль долины к заднему плану, постепенно удаляясь.

Пилигримы

Отверзлась дверь милосердья благая, –
вступить я призван в селения рая;
пред адом страх в душе исчез,
и славлю я царя небес!
Хвала тебе из века в век!

Елизавета со своего возвышения в большом возбуждении искала глазами Тангейзера среди проходивших мимо неё пилигримов, которые всё более и более удаляются, исчезая наконец в дольной прогалине справа.

Елизавета

(с горестной, но спокойной решимостью)
Нет, не вернулся он!

Голоса пилигримов

Поля мои и лесистые горы!
Ты вновь, отчизна, ласкаешь мне взоры!
Оставить рад я посох мой...

Пение постепенно замирает. – Солнце заходит.

Елизавета

(с большой торжественностью опускаясь на колени).

Мария Дева, всеблагая!
Моей молитве ты внимли!
Дай мне исчезнуть, в смерти тая!
О, скрой меня от бед земли!
Мир безмятежный сердцу дай, –
и вниду я в твой светлый край!

Когда в моей душе желанья
темнили свет твоих лучей, –
когда греховные мечтанья
рождала страсть в груди моей, –
терпела я в борьбе мученья,
чтоб погасить огонь томленья...
Но если я была виновна,
ты милосердья дверь открой:
дай мне смиренно и любовно
предстать, как ангел, пред тобой!

Там я к твоим ногам паду, –
и ты простишь его вину!

Она пребывает некоторое время в благоговейном забытии; затем, медленно поднявшись, она видит Вольфрама, который приближается к ней, желая что-то сказать. Жестом она просит его не говорить с нею.

Вольфрам

Помочь тебе я в этот час хотел бы...

Елизавета объясняет ему жестами и мимикой, что она от всего сердца благодарит его за верную любовь, но что путь её ведёт на небо, где ей предстоит исполнить высокий долг; поэтому он не должен ни сопровождать её, ни идти вслед за нею. По тропинке, ведущей в Вартбург, Елизавета поднимается в гору до половинной высоты и постепенно удаляется; её облик ещё долгое время виден в отдалении, – пока, наконец, не исчезает совершенно. Вольфрам, всё время следивший глазами за Елизаветой, садится слева у подножия холма и начинает играть на арфе.

Вольфрам

Как смерти призрак, ночь на мир слетает, –
долину чёрной тканью покрывает;
душе, что жаждет тех высот в мечтах,
зловещий мрак внушает смутный страх...

Но ты, звезда, во тьме уже мерцаешь,
свой кроткий свет земле ты посылаешь:
твой луч алмазный ночи тень рассек, –
и путь к высотам узрел человек...

О, нежный луч, вечерний свет!

Я шлю звезде моей привет!

Приветствуй ты её, звезда,

от сердца верного ей всегда!

Над тёмным миром слёз витая,

Уходит ангел к звёздам рая!..

Устремив взор на небо, он продолжает играть на арфе. – Наступила полная ночь. Входит Тангейзер в изодранной одежде пилигрима; его лицо бледно и искажено. Он бредёт неуверенной походкой, опираясь на свой посох.

Тангейзер

(слабым голосом)

Звучала арфа здесь... Напев печальный –
не от неё летит!

Вольфрам

Скажи мне, кто ты,

в ночи бродящий странник?

Тангейзер

Не узнал? –

Но ты известен мне! Ты – Эшенбах,

(насмешливо)

певец весьма искусный!

Вольфрам

(вскакивая с места, горячо)

Генрих, ты?!

Что к нам опять тебя приводит, что?

Как мог ты, если грех твой не прощён,

свои стопы сюда направить?

Тангейзер

О, не страшись, певец мой добрый!

Ведь не тебя и не твоих ищу я...

(С мучительным сладострастием)

Мне нужен тот, кто мне тропу укажет, –

тропу, что я однажды сам нашёл...

Вольфрам

Что ищешь ты?..

Тангейзер

Ищу... Венерин грот!

Вольфрам

Чудовище! Внимать тебе грешно!

Как ты решился?

Тангейзер

(шепотом)

Ты укажешь путь?

Вольфрам

О, ужас! Дрожь берёт от слов твоих!

Где был ты? Разве не ходил ты в Рим?

Тангейзер

(яростно)

Прочь этот Рим!

Вольфрам

Не видел дня святого?

Тангейзер

Прочь этот день!

Вольфрам

Скажи мне всё! Ах, я

молю тебя!

Тангейзер

(после некоторого молчания словно вспоминая, – с горестной злобой)

Да, в Рим и я ходил!

Вольфрам

И что ж? Рассказывай! –

(Медленно)

Друг бедный мой!
Какую жалость ты внушаешь мне!

Тангейзер долго молча глядит на Вольфрама, изумлённый и тронутый.

Тангейзер
(медленно)
Что слышу, Вольфрам? – Ты разве мне... не враг?

Вольфрам
Я не был им! Ты сердцем чист был прежде! –
Но Рим? Чем кончился твой путь?

Тангейзер
Итак, – внимай!
Ты, Вольфрам, всё, – да, всё узнаешь!

Он садится, изнурённый, под выступом горы; Вольфрам хочет сесть рядом с ним.

Тангейзер
Подальше стань! И место, где сажусь я,
Бог клянёт! – Внимай, Вольфрам, внимай!

Вольфрам становится в некотором отдалении от Тангейзера.

Тангейзер
С тем жаром в сердце, что в других сердцах
едва ль горел, я устремился в Рим.
Небесный ангел, ах! в душе моей
греха гордыню уничтожил: –
смиренно претерпеть страданья
и быть прощённым я спешил,
чтоб усладить святые слёзы,
что за меня он громко лил!
Со мною шёл подвижник, полный рвения,
но труд его казался лёгким мне: –
он шёл по травам мягкими лугами,
но я по терням и отрогам скал;
он в жажде припадал к ручью устами,
я – раскалённый солнца жар впивал;
когда он небу возносил моления, –
своею кровью я Творца молил;
когда он спал в убежище селенья, –
постелью мне холодный снег служил; –
Италию прошёл я, взор смежая,
чтоб не видать красот земного рая...
Я шёл, терпя и ливня злость, и грозы,
чтоб усладились ангельские слёзы!..

И вот я в Рим вступил в толпе народа,
достиг святыни, – пал, молясь, у входа...
И день настал. – Со звоном колокольным

летели к людям неба песнопенья.
Толпа ждала в волнении невольном:
звучала весть надежды и спасенья!..
Вот вышел он, – апостол Божья страха, –
склонился весь народ к его ногам.
И тысячам он милость дал, из праха
он тысячи счастливых поднял сам. –

Предстал и я, с тоской в поникшем взоре, –
поведал всё, излив признаний море, –
о злых страстях, что овладели мною,
о жажде, что внушил мне мой недуг;
и о спасеньи от оков горячих
я умолял в порыве диких мук. –
А он на этот вопль сказал:
«Ты страсть безбожную вкусил,
и ад твою сжигает грудь;
ты у Венеры в гроте жил, –
за то навеки проклят будь!
Как на жезле в руке моей
вновь зелень листьев не взойдёт,
так и в огне твоих страстей
спасенья цвет не расцветёт!» –

(долгое молчание)

Я замертво упал, простерши руки, –
лишённый сил и чувств. – Когда я встал,
пустую площадь сумрак покрывал;
вдали манили милосердья звуки...
Противно было слышать этот зов!
Прочь от молитв, от лжи смиренных строф,
как смех звучавших зло в моих ушах,
погнал меня далёко дикий страх...
Туда погнал, где столько дивных дней
я пил восторг, – в тепло мечты моей!

(В страшном экстазе)

К тебе, Венера, возвращаюсь, –
в волшебный мрак твоих утех!
В твои чертоги вновь спускаюсь,
где слух мой нежит ласки смех!

Вольфрам

Молчи! Молчи, несчастный!

Тангейзер

Ах, не заставь искать напрасно!
Твой грот тогда мне сам предстал!

Меня все проклинают, гонят!
Ты дай приют мне! Я устал!

Глубокий мрак ночи; лёгкие полосы тумана постепенно заволакивают сцену.

Вольфрам
(охваченный ужасом)
О, что с тобой! Брат, замолчи!

Тангейзер
Ха! Тёплой мглой мы объяты!

Вольфрам
Ко мне! Зияет ад в ночи!

Тангейзер
Вдыхаешь ли ты ароматы?

Туман начинает алеть, образуя розовые сумерки. Слышны приближающиеся звуки веселья.

Тангейзер
Ты слышишь смех и ликование?

Вольфрам
Трепещет в диком страхе грудь!

Тангейзер
(по мере приближения волшебных чар возбуждаясь всё более и более)
Ты видишь страстных нимф плясанье? –
Восторг испить, навек уснуть!

В розовой полутьме виднеются беспорядочные движения пляшущих фигур.

Вольфрам
Ах! Злые чары нам грозят!
На нас несётся дикий ад!

Тангейзер
Мерцает свет блаженной страсти, –
он сладко мне волнует кровь!
Да, – вот любви волшебной царство, –
(вне себя)
Венерин грот мной найден вновь!

В ярко-розовом освещении появляется Венера, покоящаяся на своём ложе.

Венера
Привет, неверный друг, тебе!
Ты изнемог в пустой борьбе?
Покинув злобный мир страданий,
ты жаждешь вновь моих лобзаний?

Тангейзер
Венера! О, моя богиня!
К тебе вернулся я опять!

Вольфрам

Нет, силы ада, – сгиньте, сгиньте!
Души заблудшей вам не взять!

Венера

Я твой побег простить готова,
за то, что вспомнил ты мой грот!
Навек останься здесь со мною, –
источник счастья здесь течёт!

Тангейзер

(с дикой решимостью вырывается из рук Вольфрама)
Навек утратил я спасенье, –
ад даст мне счастье и – забвеньё!

Вольфрам

Творец, внемли мольбе моей!
(Он снова хватает Тангейзера, удерживая его)
Генрих! Одно услышь, одно!
Внимай! –

Венера

(с зарождающимся страхом)
Приди!

Тангейзер

(Вольфраму)
Оставь меня!

Венера

Приди! Навеки будь моим!

Вольфрам

Ты можешь быть спасён, несчастный!
Тангейзер и Вольфрам горячо борются.

Тангейзер

Нет, Вольфрам, нет! Я к ней иду!

Вольфрам

Здесь ангел за тебя молился, –
он ныне реет над тобой:
Елизавета!

Тангейзер, только что снова вырвавшийся из рук Вольфрама, внезапно останавливается, как пригвождённый к месту.

Тангейзер

Елизавета! –

Туманные полосы мало по малу темнеют; сквозь них прорезывается яркий свет факелов.

Мужские голоса

(из глубины сцены)

Вдали от бед, вдали от зла
покой и мир душа нашла...

Вольфрам

(в возвышенном умилении)

Твой ангел молит Бога за тебя –
на небесах! Генрих, спасенья жди!

Венера

(уже невидимая)

Ах! Мной утрачен!

Она опускается в недра земли. – Туман исчезает совершенно. – Утренний рассвет. – Из Вартбурга вглубь долины движется траурное шествие с факелами.

Мужские голоса

Ей уготован там приют,
ей херувимы гимн поют!

Вольфрам

(нежным объятием поддерживая Тангейзера)

Ты слышишь этот хор?

Тангейзер

(умирающим голосом)

Я слышу...

Шествие выходит на сцену, появляясь в глубине долины; старшие пилигримы идут впереди, затем певцы – по сторонам открытого гроба, в котором они несут тело Елизаветы; Ландграф, рыцари и вассалы следуют за гробом.

Пение мужских голосов

Ангел прекрасный ввысь улетел,
в сонме блаженных пред Вечным предстал.

Радуйся, грешник, – благ твой удел:
ангела слёзам Всевышний внял!

Вольфрам делает знак, побуждая певцов, узнавших Тангейзера, остановиться и поставить гроб на землю. – Тангейзер, которого Вольфрам подвёл к гробу, склоняется над телом Елизаветы и медленно падает.

Тангейзер

Святая Елизавета, молись за меня!

Он умирает. – Все опускают факелы к земле и таким образом тушат их. Утренняя заря освещает всю сцену. На горном выступе авансцены появляются младшие пилигримы: они несут посох, пустивший ростки и зазеленевший свежую листвою.

Младшие пилигримы

Свят! Свят Властитель горних сил!
Спасенья символ он явил!
Добычу тьмы в полночный час
Господь блаженных чудом спас:
в деснице Папы жезл сухой
украсил он молодой листвой!
Так грешник в небесах прощён,
так в царство света внидет он!
Пусть чудо это славит тот,
кто искупленья с верой ждёт!
О, всемогущий царь небес,
Бог милосердья, Бог чудес!
Хвала тебе!
Хвала тебе!

Все

(глубоко растроганные)
Отверзлась дверь милосердья благая, –
вступает грешник в селения рая!

Занавес падает

КОНЕЦ

Материалы к мини-курсу Арно Бикара

Рыцари на улицах гетто: идишская поэзия эпохи Ренессанса



Study materials for Arnaud Bikard's mini-course

Knights in the Streets of the Ghetto: Yiddish Poetry of Italian Renaissance

Примеры из литературы на идише с итальянским влиянием



Гумпрехт из Шебрешина, учитель (меламед) в Венеции

«Эстер-лид» (Песня об Эстер) (1554)

Песня была написана для праздника Пурим, еврейского карнавала. В XVII в. этот жанр превратился в пуримшпиль – карнавальную театральную пьесу.

В 1553 г. папа Юлий приказывает сжечь Талмуд и другие еврейские книги, в которых упоминается имя Иисуса Христа. Пролог к песне намекает на эти события.

Пролог:

После того как

За наши грехи святыя книги были отняты у нас,

Они попали в руки гоев,

А лучшие из них были сожжены,

И у нас не осталось ни одной книги

Для изучения.

Благочестивые женщины непрестанно заботятся о том,

Чтобы безошибочно знать,

Что они должны делать каждую секунду,

И понимать смысл каждого действия.

Они привыкли

Просить кого-нибудь

Объяснить им *Мегилу* [свиток с историей Пурима]

На арамейском или в любой другой форме.

Но из-за наших грехов все это впустую,

Наши святыя книги превратились в дым.

Я так долго об этом думал,

Что перевел *Мегилу* на немецкий.

Я позаимствовал одну часть из версии *Таргума* [на арамейском языке],

Я взял другую часть из *Гемары* [Талмуд].

Поскольку я сочинял на *Хануку* [зимний праздник света],
 Я сделал это так,
 Чтобы женщины больше не спрашивали о том,
 Как появились *Ханука* и *Пурим*.
 Они поймут это тут же, прочитав эту книгу.
 Я подобрал также красивую мелодию,
 Чтобы время чтения не казалось долгим [...]

Краткое содержание:

Мегила рассказывает историю, произошедшую примерно через сто лет после разрушения первого храма (586 до н. э.). Царь Ахашверош, правивший в Сузах, убил свою первую жену за непослушание и нашел новую супругу Эстер, красивую еврейку, о происхождении которой он не знал. Его советник Аман решил уничтожить всех евреев, поскольку еврей Мордыхай не поклонился ему. Благодаря мудрости царицы Эстер, план Амана провалился, а сам он был повешен на виселице, которую готовил для Мордыхая.

Два фрагмента, демонстрирующие авторский стиль:

1) Аман наслаждается своим положением, но ненавидит Мордыхая за непокорность. Он жалуется своим приближенным (v.582-599):

Подчеркнутые слова имеют итальянское происхождение.

Он быстро послал за своими друзьями
 И говорит: «Ну, хорошо, дайте мне совет,
 Просто выслушайте меня,
 Я должен похвастаться:
 Царь одарил меня очень высоким чином
 И оказал мне почет.
 Не забыл и моих дочерей:
 Подобрал им вельмож.
 Один – аристократ в Вене,
 Другой – его телохранитель,
 Некоторые – писцы при нем,
 А другие охраняют его гарем,
 А один из них живет в Падуе
 И владеет там большим дворцом.

Но все это не имеет для меня никакого значения,
 И хотя я богобоязненный христианин,
 Я мучаюсь,
 Когда вижу, что Мордыхай
 Не снимает передо мной шляпу.

2) Царь узнал, что Мордыхай спас ему жизнь. Он приказывает оказать ему почести и велит Аману провести его по городу в царских одеждах, объявляя о его заслугах (v.777-813).

Взбираясь на лошадь,
 Благородный Мордыхай сказал:
 «Аман, нагнись!»
 Аману пришлось нагнуться.
 Мордыхай встал ему на спину,
 И она захрустела.
 Аман бежал впереди по улицам,
 По узким и широким,
 По сухим и мокрым,
 У него не было времени на раздумья.
 Он кричал так,
 Что все люди обращали внимание:
 «Вот человек,
 Который хорошо служит царю!»

Когда они подошли к дому Амана,
 Его дочь выглянула из окна,
 Увидела отца внизу и подбежала,
 Думая, что Аман едет на лошади,
 А Мордыхай бежит рядом по земле.
 Она не узнала их.
 Она держала в руке
 Ночной горшок
 И вылила его на голову своего отца,
 И его крики разнеслись далеко.
 Потом она поняла,
 Что облила помоями своего отца.
 Осознав это,
 Она упала и сломала шею.

И когда все это было закончено,
 Мордыхай вернулся домой
 И уселся на место, усыпанное золой [в знак траура и ради спасения евреев]
 Аман поспешил
 Принести домой ужасную вонь.
 Он быстро помылся
 И закричал: «Ой-вей! Мерзкая история!
 Ой-вей! Какой позор!»

Ку-бух (книга о корове), (примерно 1555) XXIX, 269-339



Краткое содержание:

Пожилой человек проводит много времени в синагоге. Пользуясь отсутствием мужа, его молодая жена заводит любовника. Муж ни о чем не догадывается, поскольку она умело исполняет роль верной жены. Однажды ее любовник проигрывается в карты и обращается к ней за помощью. Они решают ограбить мужа и бежать из города. Тем временем пожилой муж полностью уверен в верности своей супруги и сначала предполагает, что та забрала все деньги из дома, чтобы помочь бедным невестам достойно выйти замуж. Знакомый купец, видевший беглецов, рассказывает обманутому мужу о происшедшем, и тот оплакивает свою несчастную судьбу.

Мораль: женщины должны вести себя благопристойно, а мужчинам не следует увлекаться религией и забывать о семейных делах.

Выдержки из текста:

В день Рош-а-Шоне (еврейского Новолетия) муж просит жену пойти вместе с ним в синагогу, она же ищет предлоги, чтобы остаться дома и встретиться с любовником.



Вскоре он встает
И зовет свою жену, распутницу,

Говоря: «Вставай скорее, верная жена,
 И принеси мне праздничную одежду,
 Чтобы я быстро оделся
 И отправился в святую синагогу!»
 И ты, надень
 Праздничные одежды,
 Лисий мех и вуаль,
 Надень свою красивую юбку,
 И мы тут же пойдём в синагогу,
 Ведь ты слышала,
 Что сегодня канун святого *Рош-а-Шоне*.
 Нужно три раза произнести *Слихес* и *Хатону* [молитвы о прощении грехов].
 Не будем терять время,
 Пойдём скорее,
 Чтобы не пропустить *Кадिश* и *Борху* [молитвы].
 Жена говорит: «А кто будет снимать пену с котла?
 Кто приглядит за домом?
 Скажу вам прямо,
 Я не переступлю порог этого дома.
 Вы всегда молились за меня.
 Вам привычно исполнять эту обязанность.
 Это верно, как то, что я еврейка!
 Я всегда говорила:
 Вы молитесь за меня, а я готовлю вам еду.
 Я уверена, что лучше мне
 Остаться в моем гнездышке,
 В доме.
 Ведь я хочу быть хорошей женой,
 Но замечаю,
 Что люди в общине обманывают друг друга.
 Женщины мне не нравятся,
 Они притворяются честными,
 Делают серьезные лица,
 Но когда лето будоражит их,
 Они встают рано, чтобы пойти в синагогу,
 И каждая рассчитывает
 Повстречаться со своим любовником.
 Их заботят только
 Сплетни и флирт.
 Это верно, как то, что я еврейка!
 В синагоге слышна только их болтовня,
 Когда они садятся рядом.
 Каждая рассказывает о своем любовнике,
 А если ей не достаточно одного, то она заводит семь.
 Та, у которой больше всего любовников,
 Ходит с гордо поднятой головой,
 Словно хочет дотянуться до небес.

А когда они глядят на мужчин,
 То выбирают одного себе по вкусу.
 А как они назначают с ним свидание!
 Именно об этом они думают все время.
 Никто из них не ведет себя достойно.
 Поэтому я не хочу общаться с ними.
 Мой дорогой муж, я не хочу вас обманывать,
 Я хочу остаться дома.
 Я потру сыр для оладьев,
 Сделаю тесто на макароны.
 А когда вы вернетесь, я скажу: «Борех-або, адони!» («Добро пожаловать, мой господин!»)
 Муж очень обрадовался
 И сказал: «Моя дорогая верная жена,
 Я преклоняюсь перед твоей благопристойностью!
 Ты не принадлежишь к числу женщин, которые любят пускать пыль в глаза,
 Ты очень искренна,
 Ты справедливо бичуешь других своими словами!
 Хвала тому, чье имя я не могу назвать сейчас,
 И кто ясно показал мне твою набожность
 И наделил тебя столь добрым сердцем.
 Принеси мне праздничную свечу,
 Я пойду молиться за нас обоих!»

אלהיא ליגן זינן אלי באדי פאר און ברוך אום זיא און קלייד : זיא האטן איין
 גרוסי פרייד : גאט געב אין דז הערץ לייד : סליק .



Элия Левита

Элия Левита как габраист

ספר החשבני
לא יהו החשבני
שרשיו במנין
חשבני

ד' ל פרפום גרד וברפום תכל פיתויים אהו מן בושם
תקרא בלעדו ובלא דאמרו וכו בערבי בקרא ועסרו
וקלשו דומי גם כן פרפום וכו פרפום של מור אהלים
ה' ל וקצמוז מורה פרפומא וקנמא אבל גרד וברפום פרפומי
ד' ה' רשח ומודיקא וקנרא הפרפום מודיקא על שם דבעו
שחורא יתניח בלשוה אשכבו געל ובלעדו וואלד וכו דחפסי
ו' ג' כל פדים לירחון פירוש לקבע פרפומית וכו החובעים

שטוטאים היהודים במדינת דינציגא בקראו פובעים
ברפומיז ואבי עשיתי סימוז לפרט השבוע בעת החיא כל
דחאם יבדום וואהם דימשרא רגו יבדום לשח
ברפום |

ש"ט לפ"ק
ר' אליהו הלוי בחור ומדקדק
הלא אבן מקיר תזעק ותהמה לכל עובר
עלי זאת ה-קבורה
עלי רבן-אשר נלקח ועלה בשמיים
אלי-יה ב-סערה
הלא הוא זה אשר האיר בדקדוק אפלתו
ושם אותו לאורה
שנת שט בחדש שבט עלה בסופו, ונפשו ב
בצרור חיים צרורה

Год 209 (1549)

Элияху Налеви Бахур веМедакдек
 Камень вопиет из стены и плачет перед всем прохожим
 По этой могиле
 По нашему раввину, который был вознесен и поднялся на небо
 К Богу в вихре
 Этот человек рассеял темноту грамматики
 И вынес ее на свет.
 В году 209, в месяце шват он принял свой конец, и его душа
 Оказалась завязанной в узле жизни.



בשנת מאתים ושישים ותשע, החמס קם למטה רשע¹, ואנוש חצי בלי פשע², ויהי בהיותי, אני בעיר פדואה רבתי, כאשר היא נלכדה³ ונשללה ונשדדה, ואויבים את נוי השמו⁴, ככל המון היהודים אשר תמו, והיה כל אשר לי לשלל, כאשר יבער הגלגל⁵, ואז נפלו לי הבלים⁶ [...]

В году 269 (1509) насилие пробудилось и породило злобу, жестоким был удар, который поразил меня невинного! Это случилось, когда я был в великом городе Падуе, когда он был взят, разграблен и опустошен. И враги разрушили мой дом, как и дома большинства евреев, которые обрели свой конец, и все мое имущество было разграблено, сметено, как мусор. И тогда мне пришлось возглавить колонну изгнанников

В эпоху славы, которая показывает великолепие своей одежды, пришел человек, величие своего поколения, великолепие и красота,

Он пришел не в Израиль, но был среди народов. Я скажу вам его имя и расскажу, где он живет. Он поселился у всех на виду, как торговец сегодня в Антверпене, и зовут его Даниэлем Бомбергом

¹ Job, 34, 6.

² Jérémie, 38, 28.

³ Psaumes, 79, 7 ; Jérémie, 10, 25.

⁴ Rois I, 14, 11.

⁵ Psaumes, 16, 6.

⁶ Amos, 6, 7.

Элия Левита, творчество на идише

Пасквили



Песнь о пожаре

Элия Бохер написал эту песню о пожаре в Венеции,
Песня на мелодию «*tsur mishelo akhalnu*»

1

Сейчас я хочу воспеть
Моим язвительным тоном
Недавние события,
О которых все должны знать,
Воспеть чуму и эпидемию,
Которая случилась на этот раз
В Венеции, во время пожара,
Который разжег *Abonai*

2

Послышался великий плач о том,
Что сгорел мост Риальто.
Он исходил от торговцев и благородных людей,
Евреев, молодых и старых.
Евреи призывали друг друга
Быстро бежать
Убирать товары
Во имя *Abonai*

3

Они их грузили в ужасной спешке
И посылали далеко.
Многие вели себя негодно,
Отходили в сторону,
Надеясь обогатиться
За короткое время.
Это несчастье доставляло им радость,
И они благодарили *Abonai*

4

Многие бежали с сумками
В надежде всё унести с собой.
Один из них нашел много чанов,
Он взвалил их на плечи
И упал в лестницы,
Так что Риальто содрогнулся от его падения.
Он убежал, бросив свою добычу
И крича: *Ou veu Abonay*.

5

Затем он продолжил свой путь
И снова стал нагружать сумки.
Он хотел, было, тихонько
Сбежать,
Но гой увидел его зигзаги
И сказал: «Грязный козел!»
Он ударил его по голове,
И тому изрядно досталось, от *Abonai*.

6

Затем он побежал по улице,
Рыская то здесь, то там,
Что бы можно стащить.
Он нашел портновские ножницы,
Но потом снова потерял.
Не далеко он их унес.
Если кто рожден для бедности,
Это *Abonai* определил ему такой удел.

[...]

18.

Сумку с новыми ножницами
Взял Гиллель.
Он тащил ее, как король,
Тому есть свидетели.
Это не обман.
Он был схвачен.
Этого тоже хотел
Наш дорогой *Abonai*

19.

Что он мог сделать, если, на его беду,
Об сумке тут же спохватились?
Он спрятал ее в своей комнате
За досочкой
И хотел скрыть свой позор,
Говоря: «Эти товары
Отправила мне жена Элии Бохера,
Abonai ей в помощь».

20.

На этих словах я оставляю свой сюжет,
Оставляю в таком виде:
Я бы мог написать больше,
Если бы я мог свидетельствовать еще,
Но я лучше помолчу

И оставлю это дело,
Потому что я боюсь пострадать из-за этого,
Пусть *Abonai* защитит меня.

21.

Но одна вещь сердит меня:
Если бедняк совершит любой проступок,
Он погиб,
Все готов попить его кровушки,
И богатые так и делают.
Им это охотно разрешают,
Всё им сходит с рук.
Пусть *Abonai* сжалится!

22.

Бедняк действует тайно,
И бедность толкает его к этому.
А богатые, в общем и целом,
Действуют открыто.
И если бы я должен был всё рассказать,
Что они делают в течение года,
Мне бы не хватило дней,
Которые мне выделил *Abonai*

23

Во всей Италии
Ситуация никуда не годится.
Никто не стыдится грехов,
Все делают, что им вздумается.
Редко найдет достойного человека
Среди пожилых.
Еврейская вера бродит на костылях,
Никто не признает *Abonai*

24

Пусть будет проклята война
И тот, кто ее развязывает.
Многие утратили душу
Из-за войны.
И этого кажется недостаточно,
Вред от войны только начинает чувствоваться.
Лучше бы я лгал,
Я молю об этом *Abonai!*

25

Я хочу теперь вам назвать
Имя того, кто придумал эту песнь.
Вы, должно быть, узнали его,
Потому что его стиль хорошо известен,
Это один студент,
Человек, который всегда борется с ними
За это. Хорошего доброго Пурима!
Пусть *Авонаї* вам даст его.

Гамавдил-лид

1.

Тот, кто различает святое и профанное,
Отличает меня от Гиллеля, хитрого негодяя,
В котором столько же недостатков,
Сколько звезд на небе.

2.

Гиллель, ты осмелился бросить мне вызов,
Ты выбрал меня в качестве мишени.
Тебе придет конец
До наступления ночи!

3.

Он снова написал обо мне поэму,
Но мало кто посчитал ее смешной,
Потому что он всего лишь возвел поклеп,
И клянусь, он не переживет эту ночь!

4.

В моем первом стихотворении можно прочитать,
Как он вел себя во время пожара.
Как он повел себя благородно,
Мы видели в ту ночь!

5.

Когда он получает много денег,
Он их полностью тратит на обжорство.
Его рот не знает отдыха в течение целого дня,
И ночи.

6.

Поскольку он действительно ужасный обжора
Он попросту портит свое здоровье.
У него есть брат-священник,
Туда он и отправиться в одну из этих ночей.

7.

Его бедная душа может плакать,
Потому что он конченный нечестивец.
Никогда он не доходит в утренней молитве
до «Борух ше-омер»,
Не молится после полудня и на закате.

8.

Жизнь в синагоге мало заботит его,
Но если он видит самую малую сложность
в библейском отрывке,
Вещь, понятную даже ребенку,
Он будет размышлять над ней целую ночь.

9.

Он приходит в синагогу с громкими криками
И говорит: «Вот что это значит, во имя Бога!»
И говорит обо всем,
Как в своих ночных снах.

10.

Он полагает, что он специалист в грамматике,
Но не знает даже первого спряжения.
«Если ты грамматик, ну, тогда объясни мне,
Что делает буква «hey»
в конце слова «лайло» (ночь)?»

11.

Ведь «лайло» мужского рода,
Посмотри в стих «Этой ночью»,
ты, великий шарлатан,
Ты не заслуживаешь тех денег,
что тебе платят ученики,
И не можешь наслаждаться
этими деньгами ночью.

12.

Эй! Пусть тебя настигнет эпилепсия,
Ты не знаешь даже алфавита,
А ведь я учил тебя долгими часами
И, по воле Бога, многими ночами.

13.

То, что я вам говорю, абсолютная правда.
Когда он был в приюте, в доме Моше Вербеш,
Блохи кусали его днем,
А холод – ночью.

14.

Люди, которые хотят развлечься,
Могут послушать, как он преподает
своим ученикам.
Он мычит на них, как бык,
Среди ночи кто-нибудь мог бы испугаться.

15.

Он учит взрослых и юных полному беспорядку,
Один учит перевод Библии, другой спит,
Один – «Песнь песней», другой – Аггаду,
Один говорит «день», а другой – «ночь».

16.

Они учатся у него порокам,
За это он (как он сам говорит)
не получает и трех пфеннигов,
Он работает двадцать пять часов
За один день и одну ночь.

19.

Он кормится своими собственными методами,
Иногда играя в кости, иногда в карты,
Поэтому гои ждут его
До конца ночи.

20.

Он вызывает в суд при *Cavi dei sesteri*,
При *Avogaria*, при *Corte forestieri*,
При *Pioveghi* и при *Cattaveri*,
И при синьорах ночи.

26.

Ну что ж, раз уж я развлекаю вас,
Я хочу спеть вам о трех женщинах,
Как ни одна из них не хотела оставаться с ним.
Они распознали его с первой же ночи.

27.

Он оставался с первой довольно долго,
Но не сблизился с ней.
Он говорил повсюду, что у него нет времени
Ни днем, ни ночью.

28.

После того как он дал ей развод,
Мужчины поспешили к ней.

И всё время, что она потеряла с ним,
Она компенсировала за одну ночь.

29.

Затем, он взял в жену еще одну,
Молодую чистую девушку.
Но ей было с ним невесело,
Ни днем, ни ночью.

30.

Когда он должен был лишить ее невинности,
У бедняги не было сил,
Он купил хорошего карпа
И спрятал его в спальне ночью.

31.

Он встал за час до рассвета,
Разрезал рыбу,
Выкачал пинту крови
И пачкал ею простынь целый день и целую ночь.

32.

Он думал, что сможет обмануть женщин,
Но они нашли чешую от карпа.
Об этом болтал весь Местре,
Все узнали об этом до вечера.

[...]

66.

Я остановлюсь здесь,
Хотя мог бы продолжать и дольше,
Мне не хватило бы времени,
если бы я посвятил сочинительству
Сорок дней и сорок ночей.

67.

Гиллель, я оплатил тебе за твои поступки.
Ты бы лучше остался дома.
Вот, возьми! Ешь на здоровье!
Наслаждайся трапезой этой ночью!

68.

Если бы ты знал, как у тебя получаются рифмы,
Ты бы устыдился писать стихи.
Если ты надумаешь померяться
рифмами со мной,

Между моими и твоими разница
как между днем и ночью.

69.

О, невежда, о, ничтожество,
Посмотри на бумагу, прикрепленную к стене!
Я сделал ее своими руками.
Сделай и ты нечто подобное этой ночью!

70.

Я обещаю тебе, что не пройдет и месяца,
Я напишу еще о тебе на святом языке,
В размере книги «Шекель ha-кодеш»,
И ты будешь размышлять над этим день и ночь.

71.

И знай, что я пойду в Песаро,
Чтобы напечатать эти стихи в типографии,
Чтобы они летели так далеко, как летучие мыши
По ночам.

72.

Я тебе наконец оставляю эту поэму,
Можешь скалиться у себя дома!
Количество строф в этой поэме равно,
Согласно гематрии, численному значению слова «ночь».

73.

Их всего семьдесят пять,
С Гиллелем и Коэном получается сумма:
Два слова равны по численному значению семидесяти пяти,
А в слове «Гиллель» те же буквы, что и в слове «ночь».

74

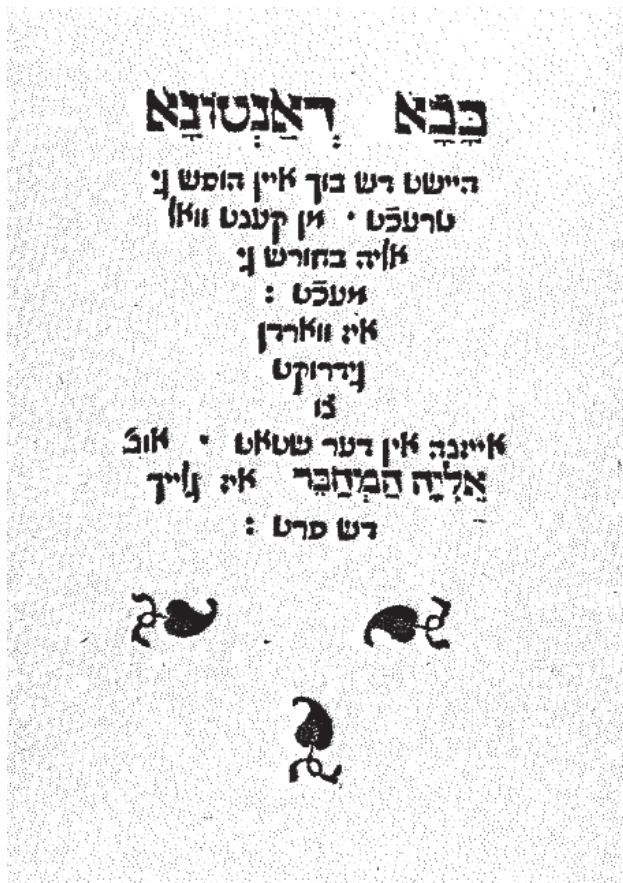
Год, который начинается теперь,
Тоже семьдесят пятый,
С того времени как Бог освободил нас от наказания
И от изгнания, которое подобно ночи.

75.

Поскольку он всегда облегчал наши страдания,
Пусть он освободит нас, мужчин и женщин,
Вот молитва и пожелание Элии Левиты, писателя,
Который сочиняет песни по ночам.

Элия Левита, «Бово Дантона» (1507)

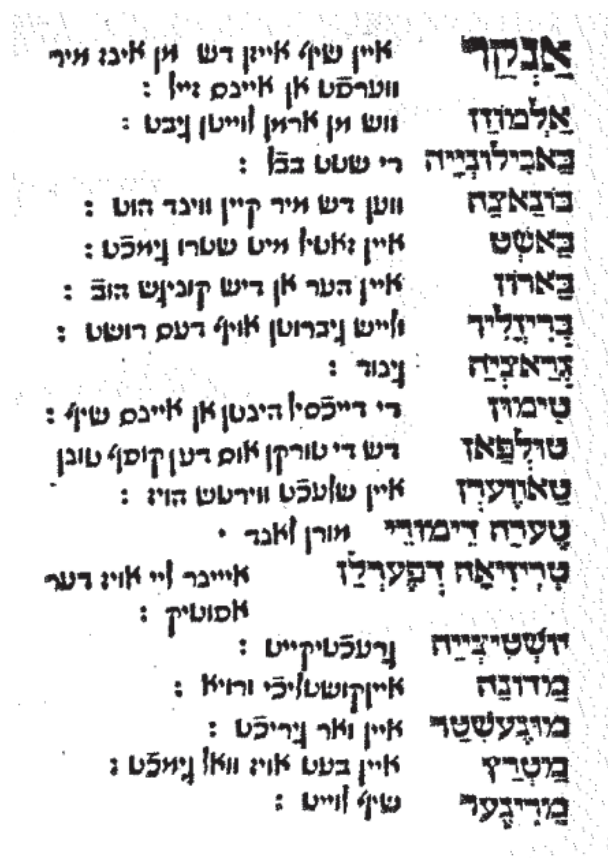
Бово Дантона



Пролог

Я, Элия Леви, писатель,
Который стоит на службе у всех благочестивых женщин
Почетно и с достоинством,
Я даже допускаю мысль,
И в это было бы легко поверить,
Что некоторые женщины обижаются на меня
Потому что я не печатаю и для них тоже
Часть моих книг на идише,
Чтобы они могли развлекаться чтением
И читать их в субботние дни и праздники.
Но я хочу сказать правду:
Мне также кажется, что это верно и к месту.
Поскольку я уже создал на святом языке
Восемь или девять книг
И напечатал их, благодаря типографии.
Я также кое-что предпринял,
Поскольку я близок к концу своей жизни
И сегодня или завтра откину копыта,
А все мои книги и песни

Будут забыты и похоронены,
 Поэтому никто не должен отговаривать меня,
 Я хочу напечатать мои книги все одну за другой,
 Сколько бы их ни было.
 Если срок, который отведен мне, не слишком короток
 И я хочу начать в нужный момент
 С этой книги, которая называется Бово.
 И это абсолютно верно, во имя Бога,
 Что тридцать четыре года назад
 Я вынул эту историю из итальянской книги,
 Но я добавил много своих изобретений:
 Тот, кто ее прочитает, хорошо это поймет.
 Здесь есть несколько итальянских слов,
 Кто их не поймет, смотри
 На последних страницах книги,
 Где я их подробно объясню
 И расставлю в алфавитном порядке.
 Что касается мелодии, которая должна сопровождать эту песню,
 Я не могу вам ее передать.
 Если кто знает музыку или сольфеджио,
 Я бы с радостью помог ему.
 Я пою эту книгу на итальянскую мелодию.
 Если кто может сочинить лучшую мелодию,
 Пусть его отблагодарят!



L'inamoramento

100

Она увидела, как хорошо он садится на лошадь,
И как он подгоняет ее шпорами,
Он преклоняет ее колени к земле,
Весь город смотрит на него.
Когда благородная девушка увидела его
Она сказала своим подругам:
«Пусть я выпаду из этого окна и разобьюсь,
Если я видела, в моей жизни, более красивого парня».

[...]

102

Это произошло в воскресенье утром:
Бово снова въехал верхом,
Он и некоторые его спутники.
Прекрасная Друзиана увидела его,
Она посмотрела на него милым взглядом
И начала любезничать.
Ее сердце возжелало молодого человека,
Она бы охотно спрыгнула с балкона.

103

Бово продолжает свой путь,
Ее улыбки и подмигивания не подействовали на него.
Она проводила его глубоким вздохом
И чуть не упала в обморок.
Она жаждет его так сильно,
Что больше не может ни есть, ни пить.
В ту же ночь она легла спать без ужина,
Всю ночь она ворочалась.

[...]

132

Друзиана хотела этого еще сильнее,
Она больше не могла его забыть
И когда все ушли
Она опустилась на луг
И хотела присесть с ним на минутку.
Он лежал на спине и спал,
Его щеки сияли, как розы.

133

Она увидела, как он спал там так мягко,
 Распластав руки и ноги,
 И она взяла его за ноги
 И стала тянуть, пока не разбудила его.
 Она приветствовала его любезно
 И спросила, почему он так любит спать:
 «Вставай, ты уже давно лежишь
 Садись рядом со мной, благородный рыцарь».

134

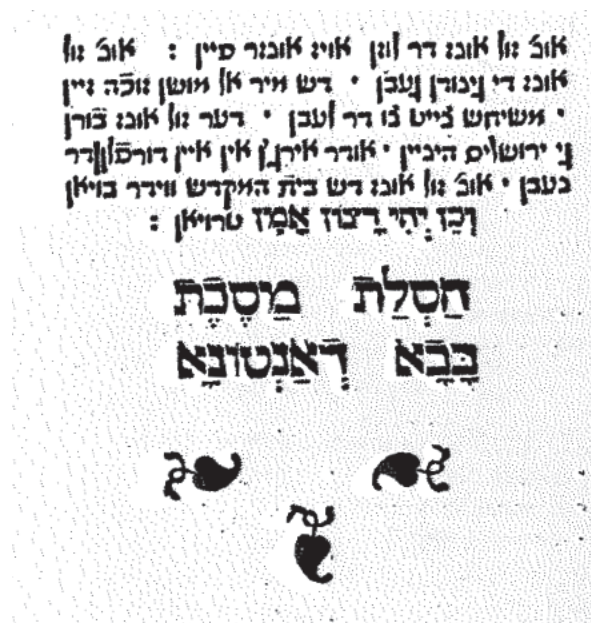
Бово сказал: «Какие смешные манеры!
 Что вы хотите, благородная девушка?».
 Она сказала: «Если бы меня не было здесь сегодня,
 Тебя бы разрезали вас на мелкие кусочки,
 Сколько раз я давала тебе знак?
 Ты никогда не хотел смотреть на меня».
 Бово бы с радостью сбежал,
 Но она крепко сжала его и не хотела отпускать.

135

Она сказала: «Тебя вожделяет мое сердце
 Почему ты всегда поворачиваешься ко мне спиной?
 Если бы ты знал, как сильно я тебя люблю,
 Ты бы скорее прижался ко мне.
 Ах, почему ты так суров?
 Ты разбиваешь мне сердце,
 Я вовсе не уродлива,
 У меня здесь два симпатичных груди!».

136

Она вытащила белые груди
 И сказала: «Разве это можно отвергнуть?»
 Она хотела рассмеяться
 И сказала: «Как ты можешь отказаться от этого?»
 Бово это не взволновало,
 Он потупил глаза,
 Он не мог смотреть ей в лицо,
 поскольку ему было стыдно,
 Этого бы не случилось бы с Элией Бохером!



Элия Левита, «Парис и Вьена» (≈1535)



1) Пролог и эпилог книги

Пролог

8

Вот почему, на данный момент, книга рассказывает нам,
Что она все время воздерживается от того, чтобы называть своего автора,
Меня узнают, да, я это хорошо понимаю,
Если книга попадет в руки любителя.
Но под своим именем я бы не могу обнаружить постыдную вещь,
Потому что приходится признаться в моем пороке и ошибке:
Эту книгу я пишу из любви к женщине,
Чей образ выгравирован в моей душе.

9

Сегодня она очень далеко от меня,
Вот почему, надеюсь, книга полетит к ней
И докажет ей, через несколько месяцев,
что я без конца посвящаю ей свои помыслы
Возможно, книга сможет, под воздействием эмоций,
Удалите из ее сердца жестокую непреклонность,
Чтобы она наконец приняла и покорилась моим желаниям,
Как любовники в этой книге, которую вы собираетесь читать.

10

Пока я помню о суровости судьбы,
 Я не могу, увы, избавиться от икоты.
 Я должен еще кое в чем признаться,
 Чтобы меня упрекали во лжи.
 Эта книга – плод моих усилий,
 Многие читали ее и, без сомнения, увидят:
 Она уже существует на христианском языке,
 Она называется там, как и здесь: «Париж и Вена».

11

Но тот, кто написал эту книгу по-итальянски,
 Он не украсил свою работу ни стихами, ни рифмами.
 Я вызвался построить мою книгу так,
 Чтобы срифмовать все строчки до единой.
 Но если я устану по пути, знайте,
 Что я оставлю книгу на некоторое время,
 И это сразу исцелит мою усталость:
 Я разделю свою работу на десять песен.

12

Если случится так, что я начну книгу с одного раздела,
 А затем отклонюсь от намеченного пути,
 Читательницы и читатели, не удивляйтесь,
 Читайте, не выказывая смущения!
 Я скоро вернусь к действию,
 Я не могу оставить вас в таком смущении.
 Те, кто, напротив, будет очень внимателен,
 Не будут смеяться, я думаю, над моими отступлениями.

13

Я наконец перехожу собственно к сюжету
 И больше не буду болтать.
 И правда, я задерживаю вас слишком долго,
 И я слышу, что в ваших рядах поднимается возмущение.
 Вот, как мне кажется, ваши добрые слова:
 «Он болтает за троих, когда он остановится?»
 Но я оставляю здесь свои оскорбительные фразы
 И прошу вас внимательно слушать.

Эпилог

Да будут они благословенны, юноши и барышни,
До тех пор, пока их не выдали замуж!
Но они не знают, насколько хороша их жизнь
И каким счастьем они делятся друг с другом.
И сколько из них подвержены жестоким сожалениям,
Когда их связывают друг с другом прежде, чем настанет подходящий возраст!
Но если бы я сказал вам почему и как,
Мне пришлось бы петь десять дней подряд.

715

У меня всегда есть одна и та же идея,
Вы можете поймать меня на слове, я говорю это открыто.
Я могу (я знаю об этом) противоречить себе: «Остановись,
Закрой этот рот или поговори с глухими!
Очевидно, что ты всего лишь грустный и глупый мальчишка,
И что никто, в конечном счете, не слышит тебя!»
Верьте в то, что вам нравится, я проповедую, и я искренен:
Благословен Господь, я холостяк!

716

Но если всё же надо будет жениться,
Я не сделаю этого раньше срока.
Хотя я надеюсь, что тем временем произойдет
Переворот, который прибудет из другого места,
Этот переворот, это облегчение, которого я ожидаю,
Окажется человеком энергичным,
Большим козлом с седой шерстью и длинными ушами,
Который устрашающе протрубит в рог.

717

Затем он отведет нас вместе в город,
С которым Бог уже давно связал нас судьбой,
Чтобы мы получили заслуженный отдых,
Как наши души, так и наши тела.
И мы будем болтать там все время,
Рассказывая Богу о помощи и утешении,
И больше не будем говорить о Парисе и Вене,
Пусть мои желания исполнятся во имя Бога, амен.



2) Прологи к четвертой и седьмой песням

Пусть Бог поможет мне благосклонно
В сочинении четвертой песни.

168

О, прекрасное создание, о, достойная юная дама,
О, благородная милая дева, о вы, честная особа,
Не лишайте меня своей благосклонности,
Если вдруг я буду слишком резок.
Сейчас я не буду красиво льстить вам,
А собираюсь говорить ясно.
И если я обижу вас,
Дамы, прошу вас, не принимайте близко к сердцу!

169

Молчите и наберитесь терпения,
Даже если придется немного пострадать.
И не лишайте меня своей благосклонности,
Я прошу вас от всего сердца.
Во всем виноват Одоардо,
Ведь я не склонен к злословью.
И если из моего рта вырвется упрек,
То это слова Одоардо!

<...>

171

<...>

Он говорил, что женщина – это река,
По которой течет обман.
Ни одной из них нельзя доверять,
Нельзя рассчитывать на верность их слов или жестов.

172

Он продолжил в том же духе:
«Парис, друг мой, мой дорогой брат,
Не ищи женской любви!
Они наврут с три короба,
И если ты надеешься добиться успеха,
То они обманут тебя,
Разрушат твою жизнь,
И ты будешь оплакивать день своего рождения.

173

Ты не распознаешь всех их уловок,
Они обманывают бедных юношей,
Даря им улыбки, одну, две, три, без счета,
И кивая головой.
Когда наконец сердце вспыхивает, словно уголь,
У них на глазах,
Они дают ему превратиться в золу,
И не пытаются погасить пожар даже водой из ложечки.

174

У них есть только одно желание:
Менять любовников без промедления.
Как только они получают власть над одним,
Они оставляют его наедине со своим горем
И быстро устремляются к следующему несчастному.
Они притираются к новому любовнику,
Хвастаются друг перед другом и насмеваются:
«Ой-вей, я сведу еще одного с ума!»

175

С каждым днем мы влюбляемся все крепче
И становимся все милее,
А они ведут себя с нами, как дикие звери,
Хуже, чем медведи и волки.
Глядя на них, мы думаем,
Что они живописные шедевры,
Они действительно картины,
Ведь они раскрашены красками.

176

Когда перед бедным юношей предстает образ
 Молодой девушки,
 Он видит на самом деле белила,
 ртутные и киноварные румяна и слюну.
 Цезальпиния, горький уксус,
 яйцо, лимон, душистый горошек – вот, что его впечатляет на самом деле.
 Квасцы, тальк и сахар,
 И вы не заметите проклятого превращения!

177

Они красят волосы в цвет золота,
 Выливая на них растительное масло и серу.
 Если смотришь на их лоб и брови,
 Хорошо видно, как они выщипывают волосы пинцетом.
 Если мы думаем, что они красивы и милы,
 То им удалось нас обмануть.
 Но их красота растает,
 Как снег на весеннем солнце.

178

И я предупреждаю своих неразумных братьев,
 Которые думают, что они высокие и стройные, как сосны,
 Братьям следует взглянуть на то, что они скрывают под своей одеждой.
 У их сандалий подошва в десять сантиметров,
 На них по три-четыре юбки.
 Юноши бы не соблазнились этим зрелищем.
 Если бы увидели, как они молча ложатся спать
 И как три четверти их наряда остается лежать у кровати.

179

Если кто-то увидит, как они встают с утра,
 Не накрашенные и не напудренные,
 Ему покажется, что они похожи
 На сухое мясо в желтом бульоне!
 Я не хочу тратить силы на этот рассказ
 И пугать тебя.
 Иначе я бы показал тебе,
 Что дело обстоит в четыре раза хуже, чем я тебе описал.

180

Они прибегают к уловкам,
 Которые невозможно скрыть.
 Поэтому знай, верь и запомни навсегда,
 Что, когда они стареют, тут же
 Их зубы начинают гнить, с каждым днем все больше,
 А лицо покрывается морщинами.
 Они пахнут, блеют, мычат и ревут,
 Они уподобляются черту из Геенны.

181

Поэтому не верь их красоте!

Уверяю тебя и предупреждаю тебя,
Ни христианин, ни еврей не нашел в них верность,
И никто не познал их любви и доброты,
А только надменность, хитрость и обман.
Они расставляют свои сети,
Но хороший человек избежит их,
А грешник будет пойман.

182

У них нет никаких заслуг,
Кроме того, что они рожают нас, мужчин,
Они упрекают нас в этом,
Однако они неправы.
Посмотри: благоухающая красная роза
Растет из стебля с шипами,
А лилия растет из дурно пахнущей травы,
Мы любим цветы, но выбрасываем их стебли».

183

Одоардо рассказал еще о многом.
Не знаю, с удовольствием или с отвращением,
Я не буду здесь приводить все его слова
И пожалею дам.
Я принадлежу к той же группе
Любовников, которые любят дам.
Особенно я люблю одну, имя которой не буду упоминать,
Хотя она не принимает моей любви.

184

Я охотно скажу, что Одоардо не прав,
Он слишком суров к ним.
Если есть семь-восемь злых особ,
Пусть он их накажет и погубит!
Но из них найдется, наверное, сотня
Верных, честных и благопристойных.
Я сказал «наверное» и не хочу уточнять,
Чтобы не говорить неправду.

**Я молюсь своему Богу, которого я люблю,
Чтобы он мне помог в седьмой песне.**

374

Многие люди часто открывают рот
И готовы без конца
Рассказывать все хором
О наших братьях в Венеции.
Они говорят, что те живут на дне,
Что они бесчестные и неблагородные.
Они не выносят чужеземцев.
Поглядите, как они приветствуют их!

375

Когда к ним заходит гость,
На него смотрят, как будто он воняет.
Ему приходится голодать годами,
Прежде чем ему предложат воды.
Им очень тяжело
Кивнуть головой в его сторону.
Чтобы сказать ему «Шалом»,
Им бы потребовалось нечеловеческое усилие.

376

Никто не разговаривает с приезжим
И даже не замечает этого.
Ему приходится долго бродить по гетто,
Прежде чем ему удастся найти себе компанию.
И если кто-то захочет с ним поговорить,
То только чтобы получить от этого прибыль
Или посмеяться над ним.
Тогда его окружают, как куры цыпленка.

377

Они часто думают, что могут одурачить его,
Но показывают только свою собственную никчемность,
Потому что человек в капюшоне
Может напугать их и прогнать из Венеции.
Но хотя они способны только на насмешки,
Они высокого мнения о себе:
Считают себя правителями Венеции и ее стен,
А нас – своими слугами и крестьянами.

378

Для них мы крестьяне и даже скот,
 Потому что, когда один из них оказывает нам внимание,
 Нам приходится следовать за ним днем и ночью,
 И мы не знаем, чем расплатиться с ними.
 Мы отдаем им деньги, стараемся,
 Но все тщетно, я не преувеличиваю.
 Как только мы расстаемся, все наши труды забываются.
 А иногда они считают, что мы остались перед ними в долгу.

379

Я слышал и другие рассказы,
 Но не хочу приводить их здесь.
 Спрячу их в свое писательское перо,
 Потому что боюсь, что они меня возненавидят.
 Я много раз их защищал
 На площадях, на улицах, в разных городах.
 Я не ценю обвинителей
 И говорю им: «Если это правда, то такова их традиция».

380

Но это плохая традиция.
 И никто не запретит мне заявить об этом.
 Все мы из плоти и крови,
 И Бог дает нам всем пищу.
 В Мантуе, в Ферраре так не поступают.
 В Удине, в Падуе, в Вероне тоже нет.



Седер ношим



Родовые муки

Когда родовые муки начинаются, она снова испытывает трудности, насколько я понимаю. Она вопит, как громогласная труба. Ее слышно через улицу. Когда ее охватывает боль, которая ударяет ее в шею, она испускает крик, большой крик. У того, кто его слышит, вполне может надорваться сердце. «Обратитесь к нашему Господу Богу, благословенному, – говорят ей женщины. И когда боли заканчиваются – так что я слышал от женщин... Если ребенок рождается неправильным способом, мать находится в опасности вместе с ребенком. Они благословляют ее маленьким свитком Торы, чтобы Бог сжалился над ней. Если матери удастся остаться невредимой, тогда ребенок подвергается риску! Если можно спасти только мать, то лучше выбрать дерево, нежели яблоко. Хорошая молодая женщина не теряет ничего, кроме творения своих рук. А если ребенок побеждает, матери всё еще нужна удача, чтобы справиться с последствиями родов. Но если матери теряют детей, будь то девочек или мальчиков, или если дети не рождаются в срок, то, опять же, [матери] практически уходят из жизни. Так, если бы даже у них не было никаких других проблем, а только эти, то было бы неудивительно, если бы они вошли в Рай живыми, как корова в мышиную нору!



Кормление грудью

Это еще одно несчастье, которое их ждет. В течение восемнадцати или двадцати [месяцев], [женщины] кормят своих детей или немного меньше или больше, а дети сосут много молока и высасывают из женщин их сердца. Но это не причиняет большой боли. [Дети] всегда цепляются за них, чтобы их погрызть. Кто может рассказать все это? Какие плохие часы и времена женщины переживают!

Иногда им приходится кормить грудью собаку, например, когда у детей нет аппетита. [Матери] опасаются, что молоко будет свертываться в их груди – и что они вряд ли смогут обойтись без собак, даже если собаки причиняли им боль лапами, кусают и царапают. Иногда собаки сосут так много, что даже причмокивают.

Если [женская] грудь болезненно набухает или [на сосках] появляются трещины, нужно попробовать что-то другое. Прочь собак! Теперь, когда [женщины] отталкивающие и нечистые из-за кормления, начинается настоящая чума: некоторые из них кормят и беременеют одновременно, и проблем становится три. Такая женщина не играет и не развлекается; несомненно, Бог приговорил ее.

Забота о ребенке

Неудивительно, что из-за страданий они надрываются, такие испытания их ждут с детьми. Им и не поест спокойно, каждый кусочек обслюнявлен или запачкан. Потом они заходятся в рыданиях. Женщина должна держать [ребенка] в сухости. Она так много беспокоится с этим. Тот хочет сидеть у нее на коленях, или ей приходится носить его на руках. Ей горячо, ей тепло. [У матери и ребенка] много таких дрызг. [Ребенок] подпрыгивает, и ее шея [переламывается] пополам! Если она хочет перекусить, [ребенок] оставляет ее в покое. То начнет царапать начес, то плачет, когда кожа шелушится, то хочет прикоснуться к ее рукам. Нет конца ее трудам. Когда у него болит живот, он громко кричит. Время от времени это действительно утомительная юная вещь!

Затем он кричит еще громче: «Голод!»; потом он кричит: «Тревога!» Как ей хотелось бы поспать. Прежде всего ей приходится кормить его грудью. Потом, в течение получаса она должна петь. Иногда все это бесполезно; и ей приходится его качать. Воистину, я не говорю вам неправды. Если у него прорезываются зубы или ветряная оспа, тогда у нее много забот. Она должна следить, чтобы сыпь не одолела его. Так бедная женщина проводит свои дни. Если у него глисты или покраснения, женщину опять ждут страдания. Нет ей больше ни отдыха, ни покоя. Она не смыкает глаз всю ночь. Как утомительный ребенок! Как только молоко заканчивается, начинается поистине великое страдание. Ребенок хочет еще сосать грудь, а у нее нет [молока].

Тяжелый жребий женщины

Если бы женщины усвоили всё это, прежде чем выходить замуж, они бы скорее утонули сами; они бы скорее легли с высушенными палкой, нежели приблизились к мужчине. Тем не менее, они не могут отпустить его, из-за хорошей Природы, будь это для них сладко или кисло. Бог знает, что у них жалкая жизнь! Их грехи прощаются им в этом мире. Я считаю всех наших женщин действительно живыми мучениками. В этом мире у них так много сложностей! Они умирают по девять раз на дню, как кошка. Я не знаю, как они могли бы ложиться спать со своими мужьями, если бы у них не было Единого Всевышнего в их сердцах.

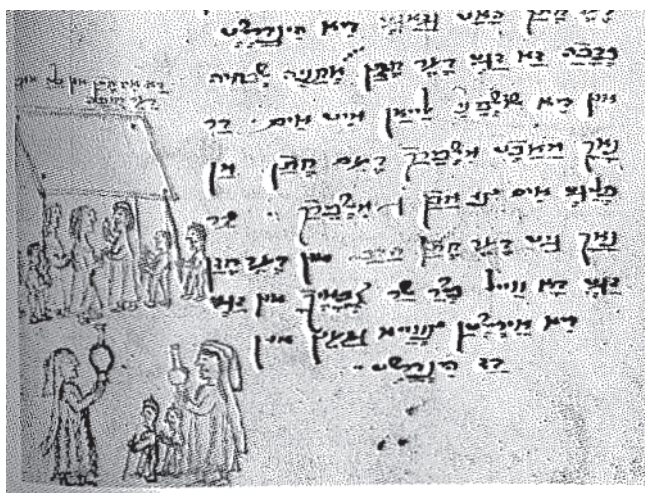
[...]



Особые субботы

Более того скажу я вам: Если бы они только знали, когда была специальная суббота, они бы не дали слаbinу; они бы приняли ее с почестями и поприветствовали с уважением. Они бы пришли в синагогу в красивых одеждах, на пальцах было бы столько колец, что они не смогли бы согнуть их. Если бы у них было много [колец], они бы не оставили на одного дома. Все [кольца] нужно было бы напялить. Также [они наденут] свои красивые жемчужные ожерелья, как сети. Если бы погода была хорошей, [каждая женщина] пришла бы одна, с желтой вуалью с жемчужными нитями, в нее бы были воткнуты три или четыре золотые иглы. Может быть, она бы побрызгала себя харосетом или смазала себя, немного, румянами, чтобы не выглядеть в святую субботу слишком бледно. Пожилые женщины будут носить вуали со множеством складок и сделают хорошее медленно готовящееся субботнее блюдо (чолнт).

Теперь все они, без исключения, делают это в субботу Песни (Шира) и для пения птиц. А что касается других специальных Суббот в году, если бы они действительно знали о них, они бы не дали слаbinу; они бы отдали им должное. Но [женщины], к сожалению, так недалёковидны. Им об этом ничего не сказали; они пребывают в заблуждении. В противном случае они бы охотно надели желтые вуали, и пояса, и серебряные ожерелья, и их шерстяные шали и все ювелирные изделия, которые у них есть. Короче говоря, женщины заслуживают похвалы. Они великолепные создания со многими достоинствами, и я все их продемонстрирую. Если бы только кто-то последовал их примеру! Если бы они были осведомлены, они бы с удовольствием сделали многое.



Свадебные обряды

Кроме того, посмотрите на свадьбу, когда пускают клич: «На плетение!», посмотрите, с каким рвением, бедняги, они спешат хоть чем-то себя занять. Итак, они стоят, вокруг невесты. Некоторые из них поют ей, очень громко, самые прекрасные свадебные песни, основанные на стихах недельного раздела Торы. [В песнях поется], что она должна соблюдать законы менструальной чистоты и зажигать свечи, отделять часть халы и готовить три пирога для благословения. Она не должна вести себя как чужая со своим мужем, а быстро поднять свою сорочку; она не должна сильно сопротивляться, а очень быстро исполнить его первое требование. Некоторые из них надевают на голову свадебный капот. Другие расчесывают и заплетают косы. Если волосы невесты длинные, им никак не закончить! Некоторые из них бросают кольца для нее [в мисочку] и развлекают ее беседой, рассказывая ей о сомнительных вещи, чтобы она смеялась.

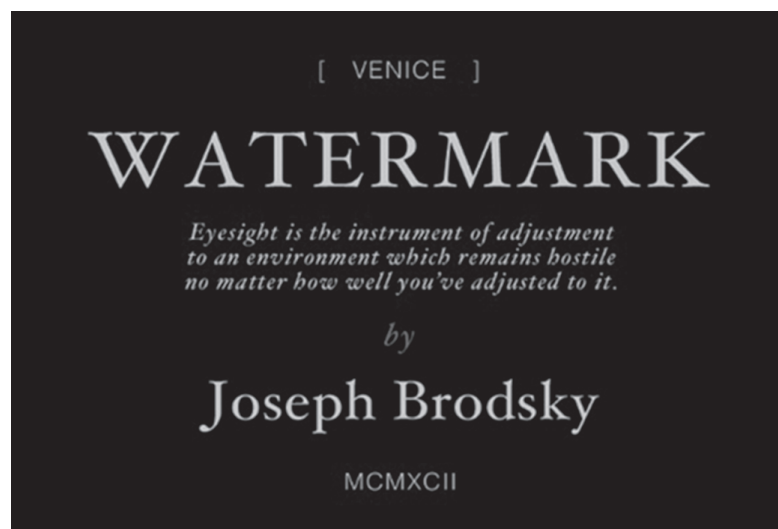
Это великая заповедь – не считайте ее пустой! Учитесь на примере Иезавели. Собаки пожрали ее, оставив только голову, руки и ноги. Она должна была быть вознаграждена за то, что танцевала перед всеми невестами, хлопала в ладоши, вертела головой взад-вперед, чтобы рассмешить невесту, кто бы ни стоял с ней рядом. Поэтому собаки не пожрали эти конечности. Теперь, в своем стремлении делать добро, они не знают, что делать с собой. По пути к венчанию они все хотят прикоснуться к невесте. Они бегут за ней, как будто наперегонки; они облепляют ее, как репейник.

Вскоре после благословения они проталкиваются вместе с ней к «петуху». Так охотно они исполняют заповедь! В субботу, после синагоги, все испытывают большое наслаждение. Они дергают молитвенный платок, помогая надеть его. Во время «мицва-танца» и утром, на торжестве, они испытывают все виды наслаждения. Да, старые женщины выползают вперед, как муравьи, прыгают и скачут, как козы. Они выходят вперед в своих лоснящихся, хорошо сшитых мехах, и все они танцуют «мицва-танец». Все они держатся за руки и ведут невесту под руку.

После брачной ночи старухи приходят довольно смело. Они хотят придерживаться этой заповеди, даже слишком. О, старые козы – они набрасываются как мухи на мед! Им так приятно, что хорошая девочка (бедняжка!) пережила страдания. Ей было кисло; ее пришлось долго упрашивать! Все женщины свидетельствуют о ней: она кричала, как будто вор забрался в стойло.

Материалы к мини-курсу Санны Турома

Русский мавр в Венеции: Иосиф Бродский и ориентализм



Study materials for Sanna Turoma's mini-course

Russian Moor in Venice: Joseph Brodsky and Orientalism

Joseph Brodsky

Watermark

To Robert Morgan

Many moons ago the dollar was 870 lire and I was thirty-two. The globe, too, was lighter by two billion souls, and the bar at the stazione where I'd arrived on that cold December night was empty. I was standing there waiting for the only person I knew in that city to meet me. She was quite late.

Every traveler knows this fix: this mixture of fatigue and apprehension. It's the time of staring down clock faces and timetables, of scrutinizing varicose marble under your feet, of inhaling ammonia and that dull smell elicited on cold winter nights by locomotives' cast iron. I did all this.

Save for the yawning bartender and immobile Buddha-like matrona at the cash register, there was no one in sight. However, we were of no use to each other: my sole currency in their language, the term "espresso," was already spent; I'd used it twice. I'd also bought from them my first pack ever of what in years to come was to stand for "Merde Statale," "Movimento Sociale," and "Morte Sicura": my first pack of MS. So I lifted my bags and stepped outside.

In the unlikely event that someone's eye followed my white London Fog and dark brown Bor-salino, they should have cut a familiar silhouette. The night itself, to be sure, would have had no difficulty absorbing it. Mimicry, I believe, is high on the list of every traveler, and the Italy I had in mind at the moment was a fusion of black-and-white movies of the fifties and the equally monochrome medium of my metier. Winter thus was my season; the only thing I lacked, I thought, to look like a local rake or carbonaro was a scarf. Other than that, I felt inconspicuous and fit to merge into the background or fill the frame of a low-budget whodunit or, more likely, melodrama.

It was a windy night, and before my retina registered anything, I was smitten by a feeling of utter happiness: my nostrils were hit by what to me has always been its synonym, the smell of freezing seaweed. For some people, it's freshly cut grass or hay; for others, Christmas scents of conifer needles and tangerines. For me, it's freezing seaweed—partly because of onomatopoeic aspects of the very conjunction (in Russian, seaweed is a wonderful *vodorosli*), partly due to a slight incongruity and a hidden underwater drama in this notion. One recognizes oneself in certain elements; by the time I was taking this smell in on the steps of the stazione, hidden dramas and incongruities long since had become my forte.

No doubt the attraction toward that smell should have been attributed to a childhood spent by the Baltic, the home of that meandering siren from the Montale poem. And yet I had my doubts about this attribution.

For one thing, that childhood wasn't all that happy (a childhood seldom is, being, rather, a school of self-disgust and insecurity); and as for the Baltic, you had indeed to be an eel to escape my part of it. At any rate, as a subject for nostalgia this childhood hardly qualified. The source of that attraction, I'd always felt, lay elsewhere, beyond the confines of biography, beyond one's genetic makeup—somewhere in one's hypothalamus, which stores our chordate ancestors' impressions of their native realm of-for example—the very ichthus that caused this civilization. Whether that ichthus was a happy one is another matter.

A smell is, after all, a violation of oxygen balance, an invasion into it of other elements—methane? carbon? sulphur? nitrogen? Depending on that invasion's intensity, you get a scent, a smell, a stench. It is a molecular affair, and happiness, I suppose, is the moment of spotting the elements of your own composition being free. There were quite a number of them out there, in a state of total freedom, and I felt I'd stepped into my own self-portrait in the cold air.

The backdrop was all in dark silhouettes of church cupolas and rooftops; a bridge arching over a body of water's black curve, both ends of which were clipped off by infinity. At night, infinity in foreign realms arrives with the last lamppost, and here it was twenty meters away. It was very quiet. A few dimly lit boats now and then prowled about, disturbing with their propellers the reflection of a large neon CINZANO trying to settle on the black oilcloth of the water's surface. Long before it succeeded, the silence would be restored.

It all felt like arriving in the provinces, in some unknown, insignificant spot-possibly one's own birthplace- after years of absence. In no small degree did this sensation owe to my own anonymity, to the incongruity of a lone figure on the steps of the stazione: an easy target for oblivion. Also, it was a winter night. And I remembered the opening line of one of Umberto Saba's poems that I'd translated long before, in a previous incarnation, into Russian: "In the depths of the wild Adriatic.."In the depths, I thought, in the boondocks, in a lost corner of the wild Adriatic... Had I simply turned around, I'd have seen the stazione all its rectangular splendor of neon and urbanity seen block letters saying VENEZIA. Yet I didn't. The sky was full of winter stars, the way it often is in the provinces. At any point, it seemed, a dog could bark in the distance, or else you might hear a rooster. With my eyes shut I beheld a tuft of freezing seaweed splayed against a wet, perhaps ice-glazed rock somewhere in the universe, oblivious to its location. I was that rock, and my leg; palm was that splayed tuft of seaweed. Presently a large, flat boat, something of a cross between sardine can and a sandwich, emerged out of nowhere and with a thud nudged the stazione's landing.

A handful of people pushed ashore and raced past me up the stairs into the terminal. Then I saw the only person I knew in that city; the sight was fabulous.

I had seen it for the first time several years before, in that same previous incarnation: in Russia. The sight had come there in the guise of a Slavist, a Mayakovsky scholar, to be precise. That nearly disqualified the sight as a subject of interest in the eyes of the coterie to which I belonged. That it didn't was the measure of her visual properties. Five foot ten, fine-boned, long-legged, narrow-faced, with chestnut hair and hazel, almond-shaped eyes, with passable Russian on those wonderfully shaped lips and a blinding smile on the same, superbly dressed in paper-light suede and matching silks, redolent of mesmerizing, unknown to us, perfume, the sight was easily the most elegant female ever to set a mind-boggling foot in our midst. She was the kind that keeps married men's dreams wet. Besides, she was a Venetian.

So we gave short shrift to her membership in the Italian CP and her attendant sentiment toward our avantgarde simpletons of the thirties, attributing both to Western frivolity. Had she been even an avowed Fascist, I think we would have lusted after her no less. She was positively stunning, and when subsequently she'd fallen for the worst possible dimwit on the periphery of our circle, some highly paid dolt of Armenian extraction, the common response was amazement and anger rather than jealousy or manly regret. Of course, come to think of it, one shouldn't get angry over a piece of fine lace soiled by some strong ethnic juices. Yet we did. For it was more than a letdown: it was a betrayal of the fabric.

In those days we associated style with substance, beauty with intelligence. After all, we were a bookish crowd, and at a certain age, if you believe in literature, you think everyone shares or should share your conviction and taste. So if one looks elegant, one is one of us. Innocent of the world outside, of the West in particular, we didn't know yet that style could be purchased wholesale, that beauty could be just a commodity. So we regarded the sight as the physical extension and embodiment of our ideals and principles, and what she wore, transparent things included, belonged to civilization.

So strong was that association, and so pretty was the sight, that even now, years later, belonging to a different age and, as it were, to a different country, I began to slip unwittingly into the old mode. The

first thing I asked her as I stood pressed to her nutria coat on the deck of the overcrowded vaporetto was her opinion of Montale's *Motets*, recently published. The familiar flash of her pearls, thirty-two strong, echoed by the sparkle on the rim of her hazel pupil and promoted to the scattered silver of the Milky Way overhead, was all I got in response, but that was a lot. To ask, in the heart of civilization, about its latest was perhaps a tautology. Perhaps I was simply being impolite, as the author wasn't a local.

The boat's slow progress through the night was like the passage of a coherent thought through the subconscious. On both sides, knee-deep in pitch-black water, stood the enormous carved chests of dark palazzi filled with unfathomable treasures – most likely gold, judging from the low-intensity yellow electric glow emerging now and then from cracks in the shutters. The overall feeling was mythological, cyclopic, to be precise: I'd entered that infinity I beheld on the steps of the stazione and now was moving among its inhabitants, along the bevy of dormant cyclopes reclining in black water, now and then raising and lowering an eyelid.

The nutria-clad sight next to me began explaining in a somewhat hushed voice that she was taking me to my hotel, where she had reserved a room, that perhaps we'd meet tomorrow or the day after, that she'd like to introduce me to her husband and her sister. I liked the hush in her voice, though it fit the night more than the message, and replied in the same conspiratorial tones that it's always a pleasure to meet potential relatives. That was a bit strong for the moment, but she laughed, in the same muffled way, putting a hand in a brown leather glove to her lips. The passengers around us, mostly dark-haired, whose number was responsible for our proximity, were immobile and equally subdued in their occasional remarks to one another, as though the content of their exchanges was also of an intimate nature. Then the sky was momentarily obscured by the huge marble parenthesis of a bridge, and suddenly everything was flooded with light. "Rialto," she said in her normal voice.

There is something primordial about traveling on water, even for short distances. You are informed that you are not supposed to be there not so much by your eyes, ears, nose, palate, or palm as by your feet, which feel odd acting as an organ of sense. Water unsettles the principle of horizontality, especially at night, when its surface resembles pavement. No matter how solid its substitute-the deck-under your feet, on water you are somewhat more alert than ashore, your faculties are more poised. On water, for instance, you never get absentminded the way you do in the street: your legs keep you and your wits in constant check, as if you were some kind of compass. Well, perhaps what sharpens your wits while traveling on water is indeed a distant, roundabout echo of the good old chordates. At any rate, your sense of the other on water gets keener, as though heightened by a common as well as a mutual danger. The loss of direction is a psychological category as much as it is a navigational one. Be that as it may, for the next ten minutes, although we were moving in the same direction, I saw the arrow of the only person I knew in that city and mine diverge by at least 45 degrees. Most likely because this part of the Canal Grande was better lit.

We disembarked at the Accademia landing, prey to firm topography and the corresponding moral code. After a short meander through narrow lanes, I was deposited in the lobby of a somewhat cloistered pensione, kissed on the cheek—more in the capacity of the Minotaur, I felt, than the valiant hero—and wished good night. Then my Ariadne vanished, leaving behind a fragrant thread of her expensive (was it Shalimar?) perfume, which quickly dissipated in the musty atmosphere of a pensione otherwise suffused with the faint but ubiquitous odor of pee. I stared for a while at the furniture. Then I hit the sack.

That's how I found myself for the first time in this city. As it turned out, there was nothing particularly auspicious or ominous about this arrival of mine. If that night portended anything at all, it was that I'd never possess this city; but then I never had any such aspiration. As a beginning, I think this ep-

isode will do, although as far as the-only-person-I-knew-in-this-city was concerned, it rather marked the end of our acquaintance.

I saw her two or three times subsequently during that stay in Venice; and indeed I was introduced to her sister and to her husband. The former turned out to be a lovely woman: as tall and slender as my Ariadne and perhaps even brighter, but more melancholy and, for all I could tell, even more married. The latter, whose appearance completely escapes my memory for reasons of redundancy, was a scumbag of an architect, of that ghastly post-war persuasion that has done more harm to the European skyline than any Luftwaffe. In Venice, he defiled a couple of wonderful campi with his edifices, one of which was naturally a bank, since this sort of human animal loves a bank with absolutely narcissistic fervor, with the longing of an effect for its cause. For that "structure" (as they called it in those days) alone, I thought, he should be cuckolded. But since, like his wife, he, too, seemed to be a member of the CP, the job,

I concluded, was best left to a comrade.

Fastidiousness was one part of it; the other part was that when, somewhat later, I called the-only-person-I-knew-in-that-city from the depths of my labyrinth one blue evening, the architect, perhaps sensing in my broken Italian something untoward, cut the thread. So now it really was up to our red Armenian brethren.

Subsequently, I was told, she divorced the man and married a U. S. Air Force pilot, who turned out to be the nephew of the mayor of a small town in the great state of Michigan, where I once dwelt. Small world, and the longer you live, no man or woman makes it larger. So were I looking for consolation, I could derive it from the thought that we now are both treading the same ground-of a different continent. This sounds, of course, like Statius talking to Virgil, but then it's only proper for the likes of me to regard America as a kind of Purgatorio-not to mention Dante himself suggesting as much.

The only difference is that her heaven is far better settled than mine. Hence my forays into my version of Paradise, which she inaugurated so graciously. At any rate, for the last seventeen years I've been returning to this city, or recurring in it, with the frequency of a bad dream.

With two or three exceptions, due to heart attacks and related emergencies, mine or someone else's, every Christmas or shortly before I'd emerge from a train/plane/boat/bus and drag my bags heavy with books and typewriters to the threshold of this or that hotel, of this or that apartment. The latter would normally be courtesy of the one or two friends I'd managed to develop here in the wake of the sight's dimming. Later, I'll try to account for my timing (though such a project is tautological to the point of reversal). For the moment, I'd like to assert that, Northerner though I am, my notion of Eden hinges on neither weather nor temperature. For that matter, I'd just as soon discard its dwellers, and eternity as well. At the risk of being charged with depravity, I confess that this notion is purely visual, has more to do with Claude than the creed, and exists only in approximations. As these go, this city is the closest. Since I'm not entitled to make a true comparison, I can permit myself to be restrictive.

I say this here and now to save the reader disillusionment. I am not a moral man (though I try to keep my conscience in balance) or a sage; I am neither an aesthete nor a philosopher. I am but a nervous man, by circumstance and by my own deeds; but I am observant. As my beloved Akutagawa Ryunosuke once said, I have no principles; all I've got is nerves. What follows, therefore, has to do with the eye rather than with convictions, including those as to how to run a narrative. One's eye precedes one's pen, and I resolve not to let my pen lie about its position. Having risked the charge of depravity, I won't wince at that of superficiality either. Surfaces- which is what the eye registers first-are often more telling than their contents, which are provisional by definition, except, of course, in the afterlife. Scanning this city's face for seventeen winters, I should by now be capable of pulling a credible Poussin-like job: of painting this place's likeness, if not at four seasons, then at four times of day.

That's my ambition. If I get sidetracked, it is because being sidetracked is literally a matter of course here and echoes water. What lies ahead, in other words, may amount not to a story but to the flow of muddy water "at the wrong time of year." At times it looks blue, at times gray or brown; invariably it is cold and not potable. The reason I am engaged in straining it is that it contains reflections, among them my own.

Inanimate by nature, hotel room mirrors are even further dulled by having seen so many. What they return to you is not your identity but your anonymity, especially in this city. For here yourself is the last thing you care to see. On my first sojourns I often felt surprised, catching my own frame, dressed or naked, in the open wardrobe; after a while I began to wonder about this place's edenic or afterlife-like effects upon one's self-awareness. Somewhere along the line, I even developed a theory of excessive redundancy, of the mirror absorbing the body absorbing the city. The net result is, obviously, mutual negation. A reflection cannot possibly care for a reflection. The city is narcissistic enough to turn your mind into an amalgam, unburdening it of its depths. With their similar effect on your purse, hotels and pensiones therefore feel very congenial. After a two-week stay-even at off-season rates-you become both broke and selfless, like a Buddhist monk. At a certain age and in a certain line of work, selflessness is welcome, not to say imperative.

Nowadays all of this is, of course, out of the question, since the clever devils shut down two thirds of the small places in winter; the remaining third keep year round those summer rates that make you wince. If you're lucky, you may find an apartment, which, naturally, comes with the owner's personal taste in paintings, chairs, curtains, with a vague sense of illegality to your face in his bathroom mirror-in short, with precisely what you wanted to shed: yourself. Still, winter is an abstract season: it is low on colors, even in Italy, and big on the imperatives of cold and brief daylight. These things train your eye on the outside with an intensity greater than that of the electric bulb availing you of your own features in the evening. If this season doesn't necessarily quell your nerves, it still subordinates them to your instincts; beauty at low temperatures is beauty.

Anyhow, I would never come here in summer, not even at gunpoint. I take heat very poorly; the unmitigated emissions of hydrocarbons and armpits still worse. The shorts-clad herds, especially those neighing in German, also get on my nerves, because of the inferiority of their-anyone's-anatomy against that of the columns, pilasters, and statues; because of what their mobility- and all that fuels it-projects versus marble stasis. I guess I am one of those who prefer choice to flux, and stone is always a choice. No matter how well endowed, in this city one's body, in my view, should be obscured by cloth, if only because it moves. Clothes are perhaps our only approximation of the choice made by marble.

This is, I suppose, an extreme view, but I am a Northerner. In the abstract season life seems more real than at any other, even in the Adriatic, because in winter everything is harder, more stark. Or else take this as propaganda for Venetian boutiques, which do extremely brisk business in low temperatures.

In part, of course, this is so because in winter one needs more clothes just to stay warm, not to mention the atavistic urge to shed one's pelt. Yet no traveler comes here without a spare sweater, jacket, skirt, shirt, slacks, or blouse, since Venice is the sort of city where both the stranger and the native know in advance that one will be on display.

No, bipeds go ape about shopping and dressing up in Venice for reasons not exactly practical; they do so because the city, as it were, challenges them. We all harbor all sorts of misgivings about the flaws in our appearance, anatomy, about the imperfection of our very features. What one sees in this city at every step, turn, perspective, and dead end worsens one's complexes and insecurities. That's why one-a woman especially, but a man also-hits the stores as soon as one arrives here, and with a

vengeance. The surrounding beauty is such that one instantly conceives of an incoherent animal desire to match it, to be on a par. This has nothing to do with vanity or with the natural surplus of mirrors here, the main one being the very water. It is simply that the city offers bipeds a notion of visual superiority absent in their natural lairs, in their habitual surroundings.

That's why furs fly here, as do suede, silk, linen, wool, and every other kind of fabric. Upon returning home, folks stare in wonderment at what they've acquired, knowing full well that there is no place in their native realm to flaunt these acquisitions without scandalizing the natives. You must keep those things fading and withering in your wardrobe, or else give them to your younger relations. Or else, there are friends. I, for one, remember buying several items hereon credit, obviously-ly-that I had no stomach or nerve to utilize later. Among them were two raincoats, one mustard green and the other a gentle shade of khaki. Later they were to grace the shoulders of the world's best ballet dancer and the best poet of the language I write this in-distinct though both these gentlemen are from me in size and age. It's the local vistas and perspectives that do it, for in this city a man is more a silhouette than his unique features, and a silhouette can be improved. It's also the marble lace, inlays, capitals, cornices, reliefs, and moldings, inhabited and uninhabited niches, saints, ain'ts, maidens, angels, cherubs, caryatids, pediments, balconies with their ample kicked-up calves, and windows themselves, Gothic or Moorish, that turn you vain.

For this is the city of the eye; your other faculties play a faint second fiddle. The way the hues and rhythms of the local facades try to smooth the waves' ever-changing colors and patterns alone may send you to grab a fancy scarf, tie, or whatnot; it glues even an inveterate bachelor to a window flooded with its motley flaunted dresses, not to mention patent-leather shoes and suede boots scattered like all sorts of boats upon the laguna. Somehow your eye suspects that all these things are cut from the same cloth as the vistas outside and ignores the evidence of labels. And in the final analysis, the eye is not so wrong, if only because the common purpose of everything here is to be seen. In an analysis even more final, this city is a real triumph of the chordate, because the eye, our only raw, fishlike internal organ, indeed swims here: it darts, flaps, oscillates, dives, rolls up.

Its exposed jelly dwells with atavistic joy on reflected palazzos, spiky heels, gondolas, etc., recognizing in the agency that brought them to the existential surface none other than itself.

In winter you wake up in this city, especially on Sundays, to the chiming of its innumerable bells, as though behind your gauze curtains a gigantic china teaset were vibrating on a silver tray in the pearl-gray sky. You fling the window open and the room is instantly flooded with this outer, pearl-laden haze, which is part damp oxygen, part coffee and prayers. No matter what sort of pills, and how many, you've got to swallow this morning, you feel it's not over for you yet. No matter, by the same token, how autonomous you are, how much you've been betrayed, how thorough and dispiriting is your self-knowledge, you assume there is still hope for you, or at least a future. (Hope, said Francis Bacon, is a good breakfast but a bad supper.)

This optimism derives from the haze, from the prayer part of it, especially if it is time for breakfast. On days like this, the city indeed acquires a porcelain aspect, what with all its zinc-covered cupolas resembling teapots or upturned cups, and the tilted profile of campaniles clinking like abandoned spoons and melting in the sky. Not to mention the seagulls and pigeons, now sharpening into focus, now melting into air. I should say that, good though this place is for honeymoons, I've often thought it should be tried for divorces also-both in progress and already accomplished. There is no better backdrop for rapture to fade into; whether right or wrong, no egoist can star for long in this porcelain setting by crystal water, for it steals the show. I am aware, of course, of the disastrous consequence the above suggestions may have for hotel rates here, even in winter. Still, people love their melodrama more than architecture, and I don't feel threatened. It is surprising that beauty is valued less than

psychology, but so long as such is the case, I'll be able to afford this city-which means till the end of my days, and which ushers in the generous notion of the future.

One is what one looks at-well, at least partially. The medieval belief that a pregnant woman wishing her child to be beautiful must look at beautiful objects is not so naive given the quality of dreams one dreams in this city. Nights here are low on nightmares-judging of course by literary sources (especially since nightmares are such sources' main fare). Wherever he goes, a sick man, for example-a cardiac cripple particularly-is bound to wake up now and then at three o'clock in the morning in a state of sheer terror, thinking he's going. Yet nothing of the sort, I must report, ever happened to me here; though as I write this, I keep my fingers and toes crossed.

There are better ways, no doubt, to manipulate dreams, and no doubt a good case can be made for it being best done gastronomically. Yet by Italian standards, the local diet is not exceptional enough to account for this city's concentration of indeed dreamlike beauty in its facades alone. For in dreams, as the poet said, begin responsibilities. In any case, some of the blueprints-an apt term in this city!-certainly sprang from that source, as there is nothing else one can trace them to in reality.

Should a poet mean to say simply, "In bed," that would hold, too. Architecture is surely the least carnal of Muses, since the rectangular principle of a building, of its facade in particular, militates-and often sharply so- against your analyst's interpretation of its cloud- or wa- ve-like-rather than feminine!-cornices, loggias, and whatnot. A blueprint, in short, is always more lucid than its analysis. Yet many a frontone here reminds you precisely of a headboard looming above its habitually unmade bed, be it morning or evening. They are far more absorbing, these headboards, than those beds' possible contents, than the anatomy of your beloved, whose only advantage here could be agility or warmth.

If there is anything erotic to those blueprints' marble consequences, it is the sensation caused by the eye trained on any of them-the sensation similar to that of the fingertips touching for the first time your beloved's breast or, better yet, shoulder. It is the telescopic sensation of coming in contact with the cellular infinity of another body's existence-a sensation known as tenderness and proportionate perhaps only to the number of cells that body contains. (Everyone would understand this, save Freudians, or Muslims believing in the veil. But then again, that may explain why among Muslims there are so many astronomers. Besides, the veil is a great social planning device, since it ensures every female a man regardless of her appearance.

Worst come to worst, it guarantees that the first-night shock is at least mutual. Still, for all the Oriental motifs in Venetian architecture, Muslims in this city are the most infrequent visitors.) In any case, whichever comes first-reality or dream-one's notion of after-life in this city appears to be well taken care of by its clearly paradisaical visual texture. Sickness alone, no matter how grave it may be, won't avail you here of an infernal vision.

You'd need an extraordinary neurosis, or a comparable accumulation of sins, or both, to fall prey to nightmares on these premises. That's possible, of course, but not too frequent. For the mild cases of either, a sojourn here is the best therapy, and that's what tourism, locally, is all about. One sleeps tight in this city, since one's feet get too tired quelling a worked-up psyche or guilty conscience alike.

Perhaps the best proof of the Almighty's existence is that we never know when we are to die. In other words, had life been a solely human affair, one would be issued at birth with a term, or a sentence, stating precisely the duration of one's presence here: the way it is done in prison camps. That this doesn't happen suggests that the affair is not entirely human; that something we've got no idea or control of interferes. That there is an agency which is not subject to our chronology or, for that matter, our sense of virtue. Hence all these attempts to foretell or figure out one's future, hence one's reliance on physicians and gypsies, which intensifies once we are ill or in trouble, and which is but an attempt at domesticating-or demonizing-the divine. The same applies to our sentiment for beauty, natural and man-made alike, since the infinite can be appreciated only by the finite. Except for grace, the reasons

for reciprocity would be unfathomable-unless one truly seeks a benevolent explanation of why they charge you so much for everything in this city.

By profession, or rather by the cumulative effect of what I've been doing over the years, I am a writer; by trade, however, I am an academic, a teacher. The winter break at my school is five weeks long, and that's what in part explains the timing of my pilgrimages here- but only in part. What Paradise and vacation have in common is that you have to pay for both, and the coin is your previous life. Fittingly then, my romance with this city-with this city in this particular season-started long ago: long before I developed marketable skills, long before I could afford my passion.

Sometime in 1966-1 was twenty-six then-a friend lent me three short novels by a French writer, Henri de Regnier, translated into Russian by the wonderful Russian poet Mikhail Kuzmin. All I knew about Regnier at that time was that he was one of the last Parnassians, a good poet but no great shakes. All I knew by heart of Kuzmin was a handful of his Alexandrian Songs and Clay Pigeons-plus his reputation as a great aesthete, devout Orthodox, and avowed homosexual-I think, in that order.

By the time I'd got those novels, both their author and their translator were long dead. The books, too, were quite moribund: paperbacks, published in the late thirties, with no bindings to speak of, disintegrating in your palm. I remember neither their titles nor their publisher;

in fact, I am quite vague on their respective plots also. Somehow I am under the impression that one of them was called Provincial Entertainments, but I am not sure. I could double-check, of course, but then the friend who lent them to me died a year ago; and I won't.

They were a cross between picaresque and detective novels, and at least one of them, the one I call in my mind Provincial Entertainments, was set in Venice in winter. Its atmosphere was twilit and dangerous, its topography aggravated with mirrors; the main events were taking place on the other side of the amalgam, within some abandoned palazzo. Like many books of the twenties, it was fairly short-some two hundred pages, no more-and its pace was brisk. The subject was the usual: love and betrayal. The main thing: the book was written in short, page or page-and-a-half chapters. From their pace came the sense of damp, cold, narrow streets through which one hurries in the evening in a state of growing apprehension, turning left, turning right. For somebody with my birthplace, the city emerging from these pages was easily recognizable and felt like Petersburg's extension into a better history, not to mention latitude. However, what mattered for me most at the impressionable stage at which I came across this novel was that it taught me the most crucial lesson in composition; namely, that what makes a narrative good is not the story itself but what follows what. Unwittingly, I came to associate this principle with Venice. If the reader now suffers, that's why.

Then one day another friend, who is still alive, brought me a disheveled issue of *Life* magazine with a stunning color photo of San Marco covered with snow. Then a bit later a girl whom I was courting at the time made me a birthday present of an accordion set of sepia postcards her grandmother had brought from a prerevolutionary honeymoon in Venice, and I pored over it with my magnifying glass. Then my mother produced from God knows where a small square piece of cheap tapestry, a rag really, depicting the Palazzo Ducale, and it covered the bolster on my Turkish sofa-thus contracting the history of the republic under my frame. And throw into the bargain a little copper gondola brought by my father from his tour of duty in China, which my parents kept on their dressing table, filling it with loose buttons, needles, postage stamps, and-increasingly- pills and ampoules. Then the friend who gave me Regnier's novels and who died a year ago took me to a semiofficial screening of the smuggled, and for that reason black-and-white, copy of Visconti's *Death in Venice* with Dirk Bogarde. Alas, the movie wasn't much to speak of; besides, I never liked the novel much, either. Still, the long opening sequence with Mr. Bogarde in a deck chair aboard a steamer made me forget about the interfering credits and regret that I was not mortally ill; even today I am still capable of feeling that regret.

Then came the Veneziana. I began to feel that this city somehow was barging into focus, tottering on the verge of the three-dimensional. It was black-and-white, as befits something emerging from literature, or winter; aristocratic, darkish, cold, dimly lit, with twangs of Vivaldi and Cherubini in the background, with Bellini/Tiepolo/Titian-draped female bodies for clouds. And I vowed to myself that should I ever get out of my empire, should this eel ever escape the Baltic, the first thing I would do would be to come to Venice, rent a room on the ground floor of some palazzo so that the waves raised by passing boats would splash against my window, write a couple of elegies while extinguishing my cigarettes on the damp stony floor, cough and drink, and, when the money got short, instead of boarding a train, buy myself a little Browning and blow my brains out on the spot, unable to die in Venice of natural causes.

A perfectly decadent dream, of course; but at the age of twenty-eight everyone who's got some brains is a touch decadent. Besides, neither part of that project was feasible. So when at the age of thirty-two I all of a sudden found myself in the bowels of a different continent, in the middle of America, I used my first university salary to enact the better part of that dream and bought a round-trip ticket, Detroit-Milano-Detroit. The plane was jammed with Italians employed by Ford and Chrysler and going home for Christmas. When the dutyfree opened mid-flight, all of them rushed to the plane's rear, and for a moment I had a vision of a good old 707 flying over the Atlantic crucifix-like: wings outstretched, tail down. Then there was the train ride with the only person I knew in the city at its end. The end was cold, damp, black-and-white. The city came into focus. "And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters," to quote an author who visited here before.

Then there was that next morning. It was Sunday, and all the bells were chiming.

I always adhered to the idea that God is time, or at least that His spirit is. Perhaps this idea was even of my own manufacture, but now I don't remember. In any case, I always thought that if the Spirit of God moved upon the face of the water, the water was bound to reflect it. Hence my sentiment for water, for its folds, wrinkles, and ripples, and-as I am a Northerner-for its grayness. I simply think that water is the image of time, and every New Year's Eve, in somewhat pagan fashion, I try to find myself near water, preferably near a sea or an ocean, to watch the emergence of a new helping, a new cupful of time from it. I am not looking for a naked maiden riding on a shell; I am looking for either a cloud or the crest of a wave hitting the shore at midnight. That, to me, is time coming out of water, and I stare at the lace-like pattern it puts on the shore, not with a gypsy-like knowing, but with tenderness and with gratitude.

This is the way, and in my case the why, I set my eyes on this city. There is nothing Freudian to this fantasy, or specifically chordate, although some evolutionary-if not plainly atavistic-or autobiographical connection could no doubt be established between the pattern a wave leaves upon the sand and its scrutiny by a descendant of the ichthyosaur, and a monster himself. The upright lace of Venetian facades is the best line time-alike-as-water has left on terra firma anywhere. Plus, there is no doubt a correspondence between-if not an outright dependence on-the rectangular nature of that lace's displays-i.e., local buildings-and the anarchy of water that spurns the notion of shape. It is as though space, cognizant here more than anyplace else of its inferiority to time, answers it with the only property time doesn't possess: with beauty. And that's why water takes this answer, twists it, wallops and shreds it, but ultimately carries it by and large intact off into the Adriatic.

The eye in this city acquires an autonomy similar to that of a tear. The only difference is that it doesn't sever itself from the body but subordinates it totally. After a while-on the third or fourth day here-the body starts to regard itself as merely the eye's carrier, as a kind of submarine to its now dilating, now squinting periscope. Of course, for all its targets, its explosions are invariably self-inflicted:

it's your own heart, or else your mind, that sinks; the eye pops up to the surface. This of course owes to the local topography, to the streets- narrow, meandering like eels-that finally bring you to a flounder of a campo with a cathedral in the middle of it, barnacled with saints and flaunting its Medusa-like cupolas.

No matter what you set out for as you leave the house here, you are bound to get lost in these long, coiling lanes and passageways that beguile you to see them through, to follow them to their elusive end, which usually hits water, so that you can't even call it a cul-de-sac. On the map this city looks like two grilled fish sharing a plate, or perhaps like two nearly overlapping lobster claws (Pasternak compared it to a swollen croissant); but it has no north, south, east, or west; the only direction it has is sideways. It surrounds you like frozen seaweed, and the more you dart and dash about trying to get your bearings, the more you get lost. The yellow arrow signs at intersections are not much help either, for they, too, curve. In fact, they don't so much help you as kelp you. And in the fluently flapping hand of the native whom you stop to ask for directions, the eye, oblivious to his sputtering *A destra, a sinistra, dritto, dritto*, readily discerns a fish.

A mesh caught in frozen seaweed might be a better metaphor. Because of the scarcity of space, people exist here in cellular proximity to one another, and life evolves with the immanent logic of gossip. One's territorial imperative in this city is circumscribed by water; the window shutters bar not so much daylight or noise (which is minimal here) as what may emanate from inside. When they are opened, shutters resemble the wings of angels prying into someone's sordid affairs, and like the spacing of the statues on cornices, human interplay here takes on the aspects of jewelry or, better yet, filigree. In these parts one is both more secretive and better informed than the police in tyrannies. No sooner do you cross the threshold of your apartment, especially in winter, than you fall prey to every conceivable surmise, fantasy, rumor. If you've got company, the next day at the grocery or newsagent you may meet a stare of biblical probing unfathomable, you would think, in a Catholic country. If you sue someone here, or vice versa, you must hire a lawyer on the outside.

A traveler, of course, enjoys this sort of thing; the native doesn't. What a painter sketches, or an amateur photographs, is no fun for the citizen. Yet insinuation as a principle of city planning (which notion locally emerges only with the benefit of hindsight) is better than any modern grid and in tune with the local canals, taking their cue from water, which, like the chatter behind you, never ends. In that sense, brick is undoubtedly more potent than marble, although both are unassailable for a stranger. However, once or twice over these seventeen years, I've managed to insinuate myself into a Venetian inner sanctum, into that beyond-the-amalgam labyrinth Regnier described in *Provincial Entertainments*. It happened in such a roundabout way that I can't even recall the details now, for I could not keep tabs on all those twists and turns that led to my passage into this labyrinth at the time. Somebody said something to somebody else, while the other person who wasn't even supposed to be there listened in and telephoned the fourth, as a result of which I'd been invited one night to a party given by the umpteenth at his palazzo.

The palazzo had become the umpteenth's only recently, after nearly three centuries of legal battles fought by several branches of a family that had given the world a couple of Venetian admirals. Accordingly, two huge, splendidly carved aft-antennas loomed in the two-story- high cave of the palazzo's courtyard, which was filled with all sorts of naval paraphernalia, dating from Renaissance days onward. The umpteenth himself, the last in the line, after decades and decades of waiting, had finally got it, to the great consternation of the other- apparently numerous-members of the family. He was no navy man; he was a bit of a playwright and a bit of a painter. For the moment, though, the most obvious thing about this forty-year-old-a slim, short creature in a gray double-breasted suit of very good cut-was that he was quite sick.

His skin looked post-hepatitis, parchment yellow-or perhaps it was just an ulcer. He ate nothing but consomme and boiled vegetables while his guests were gorging themselves on what would qualify as a separate chapter, if not a book.

So the party was celebrating the umpteenth's having come into his own, as well as his launching a press to produce books about Venetian art. It was already in full swing when the three of us—a fellow writer, her son, and I—arrived. There were a lot of people: local and faintly international luminaries, politicians, nobles, the theater crowd, beards and ascots, mistresses of varying degrees of flamboyance, a bicycle star, American academics. Also, a bunch of giggling, agile, homosexual youths inevitable these days whenever something mildly spectacular takes place. They were presided over by a rather distraught and spiteful middle-aged queen—very blond, very blue-eyed, very drunk: the premises' major domo, whose days here were over and who therefore loathed everyone. Rightly so, I would add, given his prospects.

As they were making quite a ruckus, the umpteenth politely offered to show the three of us the rest of the house. We readily agreed and went up by a small elevator. When we left its cabin, we left the twentieth, the nineteenth, and a large portion of the eighteenth century behind, or, more accurately, below: like sediment at the bottom of a narrow shaft.

We found ourselves in a long, poorly lit gallery with a convex ceiling swarming with putti. No light would have helped anyway, as the walls were covered with large, floor-to-ceiling, dark-brownish oil paintings, definitely tailored to this space and separated by barely discernible marble busts and pilasters. The pictures depicted, as far as one could make out, sea and land battles, ceremonies, scenes from mythology; the lightest hue was wine-red. It was a mine of heavy porphyry in a state of abandonment, in a state of perpetual evening, with oils obscuring its ores; the silence here was truly geological. You couldn't ask, What is this? Who is this by? because of the incongruity of your voice, belonging to a later and obviously irrelevant organism. Or else it felt like an underwater journey — we were like a school of fish passing through a sunken galleon loaded with treasure, but not opening our mouths, since water would rush in.

At the far end of the gallery our host flitted to the right, and we followed him into a room which appeared to be a cross between the library and the study of a seventeenth-century gentleman. Judging by the books behind the criss-crossed wire in the red, wardrobe-size wooden cabinet, the gentleman's century could even have been the sixteenth. There were about sixty fat, white, vellum-bound volumes, from Aesop to Zeno; just enough for a gentleman; more would turn him into a penseur, with disastrous consequences either for his manners or for his estate. Other than that, the room was quite bare. The light in it wasn't much better than in the gallery; I'd made out a desk and a large faded globe.

Then our host turned a knob and I saw his silhouette framed by a door leading into an enfilade. I glanced at that enfilade and I shuddered: it looked like a vicious, viscous infinity. I swallowed air and stepped into it.

It was a long succession of empty rooms. Rationally I knew that it couldn't be longer than the gallery parallel to which it ran. Yet it was. I had the sense of walking not so much in standard perspective as in a horizontal spiral where the laws of optics were suspended. Each room meant your further disappearance, the next degree of your nonexistence. This had to do with three things: drapery, mirrors, and dust. Although in some cases you could tell a room's designation—dining room, salon, possibly a nursery—most were similar in their lack of apparent function. They were about the same in size, or at any rate, they didn't seem to differ much in that way from one another. And in each one of them windows were draped and two or three mirrors adorned the walls.

Whatever the original color and pattern of the drapes had been, they now looked pale yellow and very brittle. A touch of your finger, let alone a breeze, would mean sheer destruction to them, as the shards of fabric scattered nearby on the parquet suggested. They were shedding, those curtains, and

some of their folds exposed broad, bald, threadbare patches, as though the fabric felt it had come full circle and was now reverting to its pre-loom state. Our breath was perhaps too great an intimacy also; still, it was better than fresh oxygen, which, like history, the drapes didn't need. This was neither decay nor decomposition; this was dissipation back into time, where color and texture don't matter, where perhaps having learned what may happen to them, they will regroup and return, here or elsewhere, in a different guise. "Sorry," they seemed to say, "next time around we'll be more durable."

Then there were those mirrors, two or three in each room, of various sizes, but mostly rectangular. They all had delicate golden frames, with well-wrought floral garlands or idyllic scenes which called more attention to themselves than to their surface, since the amalgam was invariably in poor shape. In a sense, the frames were more coherent than their contents, straining, as it were, to keep them from spreading over the wall. Having grown unaccustomed over the centuries to reflecting anything but the wall opposite, the mirrors were quite reluctant to return one's visage, out of either greed or impotence, and when they tried, one's features would come back incomplete.

I thought, I begin to understand Regnier. From room to room, as we proceeded through the enfilade, I saw myself in those frames less and less, getting back more and more darkness. Gradual subtraction, I thought to myself; how is this going to end? And it ended in the tenth or eleventh room. I stood by the door leading into the next chamber, staring at a largish, three-by-four-foot gilded rectangle, and instead of myself I saw pitchblack nothing. Deep and inviting, it seemed to contain a perspective of its own – perhaps another enfilade. For a moment I felt dizzy; but as I was no novelist, I skipped the option and took a doorway.

All along it had been reasonably ghostly; now it became unreasonably so. The host and my companions lagged somewhere behind; I was on my own. There was a great deal of dust everywhere; the hues and shapes of everything in sight were mitigated by its gray. Marble inlaid tables, porcelain figurines, sofas, chairs, the very parquet. Everything was powdered with it, and sometimes, as with figurines and busts, the effect was oddly beneficial, accentuating their features, their folds, the vivacity of a group. But usually its layer was thick and solid; what's more, it had an air of finality, as though no new dust could be added to it. Every surface craves dust, for dust is the flesh of time, as a poet said, time's very flesh and blood; but here the craving seemed to be over. Now it will seep into the objects themselves, I thought, fuse with them, and in the end replace them. It depends of course on the material; some of it quite durable. They may not even disintegrate; they'll simply become grayer, as time would have nothing against assuming their shapes, the way it already had in this succession of vacuum chambers in which it was overtaking matter.

The last of them was the master bedroom. A gigantic yet uncovered four-poster bed dominated its space: the admiral's revenge for the narrow cot aboard his ship, or perhaps his homage to the sea itself. The latter was more probable, given the monstrous stucco cloud of putti descending on the bed and playing the role of baldachin. In fact, it was more sculpture than putti. The cherubs' faces were terribly grotesque: they all had these corrupt, lecherous grins as they stared-very keenly- downward upon the bed. They reminded me of that stable of giggling youths downstairs; and then I noticed a portable TV set in the corner of this otherwise absolutely bare room. I pictured the major domo entertaining his choice in this chamber: a writhing island of naked flesh amid a sea of linen, under the scrutiny of the dust-covered gypsum masterpiece. Oddly enough, I felt no repulsion. On the contrary, I felt that from time's point of view such entertainment here could only seem appropriate, as it generated nothing. After all, for three centuries, nothing here reigned supreme. Wars, revolutions, great discoveries, geniuses, plagues never entered here due to a legal problem. Causality was canceled, since its human carriers strolled in this perspective only in a caretaker capacity, once in a few years, if that. So the little wriggling shoal in the linen sea was, in fact, in tune with the premises, since it couldn't in

nature give birth to anything. At best, the major domo's island-or should I say volcano?-existed only in the eyes of the putti. On the mirror's map it didn't. Neither did I.

That happened only once, although I've been told there are scores of places like this in Venice. But once is enough, especially in winter, when the local fog, the famous nebbia, renders this place more extemporal than any palace's inner sanctum, by obliterating not only reflections but everything that has a shape: buildings, people, colonnades, bridges, statues.

Boat services are canceled, airplanes neither arrive nor take off for weeks, stores are closed, and mail ceases to litter one's threshold. The effect is as though some raw hand had turned all those enfilades inside out and wrapped the lining around the city. Left, right, up, and down swap places, and you can find your way around only if you are a native or were given a cicerone. The fog is thick, blinding, and immobile. The latter aspect, however, is of advantage to you if you go out on a short errand, say, to get a pack of cigarettes, for you can find your way back via the tunnel your body has burrowed in the fog; the tunnel is likely to stay open for half an hour. This is a time for reading, for burning electricity all day long, for going easy on self-deprecating thoughts or coffee, for listening to the BBC World Service, for going to bed early. In short, a time for self-oblivion, induced by a city that has ceased to be seen. Unwittingly, you take your cue from it, especially if, like it, you've got no company. Having failed to be born here, you at least can take some pride in sharing its invisibility.

On the whole, however, I've always been as keen on the contents of this city's average brick affairs as on those of the marbled and unique. There is nothing populist, let alone anti-aristocratic, to this preference; nor is there anything of the novelist. It's just the echo of the sort of houses I've lived or worked in for most of my life. Failing to have been born here, I've failed, I suppose, a bit further by picking up a line of work which normally doesn't land one on a piano nobile. On the other hand, there is perhaps some perverse snobbery in the sentiment for brick here, for its rank red akin to inflamed muscle bared by the scabs of peeled-off stucco. Like eggs, which often-especially while I'm fixing myself breakfast-make me imagine the unknown civilization that came up with the idea of producing canned food in an organic fashion, brick and bricklaying somehow ring of an alternative order of flesh, not raw of course, but scarlet enough, and made up of small, identical cells. Yet another of the species' self-portraits at the elemental level, be it a wall or a chimney. In the end, like the Almighty Himself, we make everything in our image, for want of a more reliable model; our artifacts tell more about ourselves than our confessions.

At any rate, I seldom got myself across the thresholds of ordinary dwellings in this city.

No tribe likes strangers, and Venetians are very tribal, in addition to being islanders. My Italian, wildly oscillating around its firm zero, also remained a deterrent. It always got better after a month or so, but then I'd be boarding the plane that would remove me from the opportunity to use it for another year.

Therefore, the company I kept was that of English-speaking natives and expatriate Americans whose houses shared a familiar version-if not degree-of affluence. As for those who spoke Russian, the characters from the local U, their sentiments toward the country of my birth and their politics used to bring me to the brink of nausea. The result would be nearly the same with the two or three local authors and academics: too many abstract lithographs on the walls, too many tidy bookshelves and African trinkets, silent wives, sallow daughters, conversations running their moribund course through current events, someone else's fame, psychotherapy, surrealism, down to the description of a short-cut to my hotel.

Disparity of pursuits compromised by tautology of net results, if one needs a formula, that is. I aspired to wasting my afternoons in the empty office of some local solicitor or pharmacist, eyeing his secretary as she brought in coffee from a bar nearby, chatting idly away about the prices of mo-

torboats or the redeeming features of Diocletian's character, since practically everyone here has a reasonably sound education as well as a yen for things streamlined. I'd be unable to lift myself from the chair, his clients would be few; in the end, he'd lock up the premises and we'd stroll to the Gritti or Da-nieli, where I'd buy him drinks; if I was lucky, his secretary would join us. We'd sink in deep arm-chairs, exchanging malicious remarks about the new German battalions or the ubiquitous Japanese peeping through their cameras, like new elders, at the pallid naked marble thighs of this Susannah-like city wading cold, sunset-tinged, lapping waters.

Later he might invite me over to his place for supper, and his pregnant wife, rising above the steaming pasta, would berate me volubly for my protracted bachelorhood... Too many neorealist movies, I suppose, too much Svevo-reading. For this sort of fantasy to come true, the requirements are the same as for inhabiting a piano nobile. I don't meet them, nor have I ever stayed here long enough to abandon this pipe dream entirely. To have another life, one ought to be able to wrap up the first one, and the job should be done neatly. No one pulls this sort of thing off convincingly, though, at times, good services are rendered to one either by absconding spouses or by political systems. It's the other houses, strange staircases, odd smells, unfamiliar furniture and topography that the proverbial old dogs dream about in their senility and decrepitude, not new masters. And the trick is not to disturb them.

So I never slept, let alone sinned, in a cast-iron family bed with pristine, crisp linen, embroidered and richly fringed bedspread, cloudlike pillows, and small pearl-encrusted crucifix above the headboard.

I never trained my vacant stare on an oleograph of the Madonna, or faded pictures of a father/brother/uncle/son in a *bersagliere* helmet, with its black feathers, or chintz curtains on the window, or porcelain or majolica jug atop a dark wood chest of drawers filled with local lace, sheets, towels, pillowcases, and underclothes washed and ironed on the kitchen table by a young, strong, tanned, almost swarthy arm, as a shoulder strap slips off it and silver beads of sweat sparkle on the forehead. (Speaking of silver, it would in all likelihood be tucked away under a pile of sheets in one of those drawers.) All this, of course, is from a movie in which I was neither a star nor even an extra, from a movie which for all I know they are not ever going to shoot again, or, if they do, the props will look different.

In my mind, it is called *Nozze di Seppia*, and it's got no plot to it, save a scene with me walking along the Fondamente Nuove with the greatest watercolor in the world on the left and a red-brick infinity on the right. I should be wearing a cloth cap, dark serge jacket, and a white shirt with an open collar, washed and ironed by the same strong, tanned hand. Approaching the Arsenale, I'd turn right, cross twelve bridges, and take via Garibaldi to the Giardini, where, on an iron chair in the Caffè Paradiso, would be sitting she who washed and ironed this shirt six years ago. She'd have before her a glass of *chinotto* and a *panino*, a frayed little volume of Propertius' *Monobiblos* or Pushkin's *Captain's Daughter*, she'd be wearing a knee-length taffeta dress bought once in Rome on the eve of our trip to Ischia. She would lift her eyes, the color of mustard and honey, fix them on the figure in the heavy serge jacket, and say, "What a belly!" If anything is to save this picture from being a flop, it will be the winter light.

A while ago I saw somewhere a photograph of a wartime execution. Three pale, skinny men of medium height and no specific facial features (they were seen by the camera in profile) stood on the edge of a freshly dug ditch. They had a Northern appearance—in fact, I think the photograph was taken in Lithuania. Close behind each one of them stood a German soldier holding a pistol. In the distance you could make out a bunch of other soldiers: the onlookers. It looked like early winter or late autumn, as the soldiers were in their winter overcoats. The condemned men, all three of them, were also dressed identically. They wore cloth caps, heavy black jackets over white undershirts without collars: victims' uniform. On top of everything, they were cold. Partly because of that they drew their heads into their shoulders. In a second they will die: the photographer pushed his button an instant before the soldiers pulled their triggers.

The three village lads drew their heads into their shoulders and were squinting the way a child does anticipating pain. They expected to be hurt, perhaps badly hurt; they expected the deafening-so close to their ears!-sound of a shot. And they squinted.

Because the human repertoire of responses is so limited! What was coming to them was death, not pain; yet their bodies couldn't distinguish one from the other.

One afternoon in November 1977, in the Lond-ra, where I was staying courtesy of the Biennale on Dissent, I received a phone call from Susan Sontag, who was staying in the Gritti under the same dispensation. "Joseph," she said, "what are you doing this evening?" "Nothing," I said. "Why?" "Well, I bumped into Olga Rud- ge today in the piazza. Do you know her?" "No. You mean the Pound woman?" "Yes," said Susan, "and she invited me over tonight. I dread going there alone. Would you go with me, if you haven't got other plans?" I had none, and I said, Sure, I will, having understood her apprehension only too well. Mine, I thought, could be even greater. Well, to begin with, in my line of work Ezra Pound is a big deal, practically an industry. Many an American grapho-maniac has found in Ezra Pound both a master and a martyr. As a young man, I had translated quite a bit of him into Russian. The translations were trash, but came very close to being published, courtesy of some crypto-Nazi on the board of a solid literary magazine (now, of course, the man is an avid nationalist).

I liked the original for its sophomoric freshness and taut verse, for its thematic and stylistic diversity, for its voluminous cultural references, then out of my reach. I also liked his "make it new" dictum-liked it, that is, until I grasped that the true reason for making it new was that "it" was fairly old; that we were, after all, in a body shop. As for his plight in St. Elizabeths, in Russian eyes, that was nothing to rave about and, anyhow, better than the nine grams of lead that his wartime radio spiels might have earned him elsewhere. *The Cantos*, too, left me cold; the main error was an old one: questing after beauty. For someone with such a long record of residence in Italy, it was odd that he hadn't realized that beauty can't be targeted, that it is always a byproduct of other, often very ordinary pursuits. A fair thing to do, I thought, would be to publish both his poems and his speeches in one volume, without any learned introduction, and see what happens. Of all people, a poet should have known that time knows no distance between Ra-pallo and Lithuania. I also thought that admitting that you've screwed up your life is more manly than persevering in the posture of a persecuted genius, with all the throwing up of the arm in a Fascist salute upon his return to Italy, subsequent disclaimers of the gesture's significance, reticent interviews, and cape and staff cultivating the appearance of a sage with the net result of resembling Haile Selassie. He was still big with some of my friends, and now I was to see his old woman.

The address given was in the Salute sestiere, the part of town with the greatest, to my knowledge, percentage of foreigners in it, Anglos especially.

After some meandering, we found the place-not too far, in fact, from the house in which Regnier dwelt in the teens of the century. We rang the bell, and the first thing I saw after the little woman with the beady eyes took shape on the threshold was the poet's bust by Gaudier-Brzeska sitting on the floor of the drawing room. The grip of boredom was sudden but sure.

Tea was served, but no sooner had we taken the first sip than the hostess-a gray-haired, diminutive, shipshape lady with many years in her to go-lifted her sharp finger, which slid into an invisible mental groove, and out of her pursed lips came an aria the score of which has been in the public domain at least since 1945. That Ezra wasn't a Fascist; that they were afraid the Americans (which sounded pretty strange coming from an American) would put him in the chair; that he knew nothing about what was going on; that there were no Germans in Rapallo; that he'd travel from Rapallo to Rome only twice a month for the broadcast; that the Americans, again, were wrong to think that Ezra meant it to. At some point I stopped registering what she was saying-which is easy for me, as English is not my mother tongue- and just nodded in the pauses, or whenever she'd punctuate her monologue with a tic-like

"Capi-to?" A record, I thought; her master's voice. Be polite and don't interrupt the lady; it's garbage, but she believes it. There is something in me, I suppose, that always respects the physical side of human utterance, regardless of the content; the very movement of someone's lips is more essential than what moves them. I sank deeper into my armchair and tried to concentrate on the cookies, as there was no dinner.

What woke me from my reverie was the sound of Susan's voice, which meant that the record had come to a stop. There was something odd in her timbre and I cocked my ear. Susan was saying, "But surely, Olga, you don't think that the Americans got cross with Ezra over his broadcasts. Because if it were only his broadcasts, then Ezra would be just another Tokyo Rose." Now, that was one of the greatest returns I had ever heard. I looked at Olga. It must be said that she took it like a mensch. Or, better yet, a pro. Or else she didn't grasp what Susan had said, though I doubt it. "What was it, then?" she inquired. "It was Ezra's anti-Semitism," replied Susan, and I saw the ??rundum needle of the old lady's finger once again hitting the groove. On this side of the record was: "One should realize that Ezra was not an anti-Semite; that after all his name was Ezra; that some of his friends were Jewish, including one Venetian admiral; that." The tune was equally familiar and equally long-about three-quarters of an hour; but this time we had to go. We thanked the old lady for the evening and bade her farewell. I, for one, did not feel the sadness one usually feels leaving the house of a widow-or for that matter anybody alone in an empty place. The old lady was in good shape, reasonably well off; on top of that, she had the comfort of her convictions-a comfort, I felt, she'd go to any length to defend.

I think I'd never met a Fascist-young or old; however, I'd dealt with a considerable number of old CP members, and that's why tea at Olga Rudge's place, with that bust of Ezra sitting on the floor, rang, so to speak, a bell. We turned to the left of the house and two minutes later found ourselves on the *Fondamenta degli In-curabili*.

Ah, the good old suggestive power of language! Ah, this legendary ability of words to imply more than reality can provide! Ah, the lock, stock, and barrel of the metier. Of course, the "Embankment of the Incurables" harks back to the plague, to the epidemics that used to sweep this city half clean century after century with a census taker's regularity. The name conjures the hopeless cases, not so much strolling along as scattered about on the flagstones, literally expiring, shrouded, waiting to be carted-or, rather, shipped away. Torches, fumes, gauze masks preventing inhalation, rustling of monks' frocks and habits, soaring black capes, candles.

Gradually the funereal procession turns into a carnival, or indeed a promenade, where a mask would have to be worn, since in this city everybody knows everybody. Add to this, tubercular poets and composers; add to this, men of moronic convictions or aesthetes hopelessly enamored of this place-and the embankment might earn its name, reality might catch up with language. And add to this that the interplay between plague and literature (poetry in particular, and Italian poetry especially) was quite intricate from the threshold. That Dante's descent into the netherworld owes as much to Homer's and Virgil's-episodic scenes, after all, in the *Iliad* and the *Aeneid*- as to Byzantine medieval literature about cholera, with its traditional conceit of premature burial and subsequent peregrination of the soul.

Over-zealous agents of the netherworld bustling around the cholera-stricken city would often zero in on a badly dehydrated body, put their lips to his nostrils, and suck away his life spirit, thereby proclaiming him dead and fit to be buried. Once underneath, the individual would pass through infinite halls and chambers, pleading that he has been consigned to the realm of the dead unjustly and seeking ! redress. Upon obtaining it-usually by facing a tribunal presided over by Hippocrates-he would return full of stories about those he had bumped into in the halls and chambers below: kings, queens, heroes, famous or infamous mortals of his time, repentant, resigned, defiant. Sounds familiar? Well, so much for the suggestive powers of the metier. One never knows what engenders what: an experience a language, or a language an experience. Both are capable of generating quite a lot.

When one is badly sick, one imagines all sorts of consequences and developments which, for all we know, won't ever take place. Is this metaphoric thinking? The answer, I believe, is yes. Except that when one is sick, one hopes, even against hope, to get cured, the illness to stop. The end of an illness thus is the end of its metaphors. A metaphor-or, to put it more broadly, language itself-is by and large open-ended, it craves continuum: an afterlife, if you will. In other words (no pun intended), metaphor is incurable. Add then to all of this yourself, a carrier of this metier, or of this virus-in fact, of a couple of them, sharpening your teeth for a third- shuffling on a windy night along the Fon-damenta, whose name proclaims your diagnosis regardless of the nature of your malady.

The winter light in this city! It has the extraordinary property of enhancing your eye's power of resolution to the point of microscopic precision-the pupil, especially when it is of the gray or mustard-and-honey variety, humbles any Hassel-blad lens and develops your subsequent memories to a *National Geographic* sharpness. The sky is brisk blue; the sun, escaping its golden likeness beneath the foot of San Giorgio, sashays over the countless fish scales of the laguna's lapping ripples; behind you, under the colonnades of the Palazzo Ducale, a bunch of stocky fellows in fur coats are revving up Eine Kleine Nachtmusik, just for you, slumped in your white chair and squinting at the pigeons' maddening gambits on the chessboard of a vast campo. The espresso at your cup's bottom is the one black dot in, you feel, a miles-long radius. Such are the noons here.

In the morning this light breasts your windowpane and, having pried your eye open like a shell, runs ahead of you, strumming its lengthy rays-like a hot-footed schoolboy running his stick along the iron grate of a park or garden-along arcades, colonnades, redbrick chimneys, saints, and lions. "Depict! Depict!" it cries to you, either mistaking you for some Canaletto or Carpaccio or Guardi, or because it doesn't trust your retina's ability to retain what it makes available, not to mention your brain's capacity to absorb it. Perhaps the latter explains the former. Perhaps they are synonymous. Perhaps art is simply an organism's reaction against its retentive limitations. At any rate, you obey the command and grab your camera, supplementing both your brain cells and your pupil. Should this city ever be short of cash, it can go straight to Kodak for assistance-or else tax its products savagely. By the same token, as long as this place exists, as long as winter light shines upon it, Kodak shares are the best investment.

At sunset all cities look wonderful, but some more so than others. Reliefs become suppler, columns more rotund, capitals curlier, cornices more resolute, spires starker, niches deeper, disciples more draped, angels airborne. In the streets it gets dark, but it is still daytime for the Fondamenta and that gigantic liquid mirror where motorboats, va-poretto, gondolas, dinghies, and barges "like scattered old shoes" zealously trample Baroque and Gothic facades, not sparing your own or a passing cloud's reflection either. "Depict it," whispers the winter light, stopped flat by the brick wall of a hospital or arriving home at the paradise of San Zaccaria's frontone after its long passage through the cosmos. And you sense this light's fatigue as it rests in Zaccaria's marble shells for another hour or so, while the earth is turning its other cheek to the luminary.

This is the winter light at its purest. It carries no warmth or energy, having shed them and left them behind somewhere in the universe, or in the nearby cumulus. Its particles' only ambition is to reach an object and make it, big or small, visible. It's a private light, the light of Giorgione or Bellini, not the light of Tiepolo or Tintoretto. And the city lingers in it, savoring its touch, the caress of the infinity whence it came. An object, after all, is what makes infinity private.

And the object can be a little monster, with the head of a lion and the body of a dolphin. The latter would coil, the former gnash its fangs. It could adorn an entrance or simply burst out of a wall without any apparent purpose, the absence of which would make it oddly recognizable. In a certain line of work, and at a certain age, nothing is more recognizable than a lack of purpose. The same goes for a fusion of two or more traits or properties, not to mention genders. On the whole, all these night-

marish creatures—dragons, gargoyles, basilisks, female-breasted sphinxes, winged lions, Cerberuses, Minotaurs, centaurs, chimeras—that come to us from mythology (which, by rights, should have the status of classical surrealism) are our self-portraits, in the sense that they denote the species' genetic memory of evolution. Small wonder that here, in this city sprung from water, they abound. Again, there is nothing Freudian to them, nothing sub-or unconscious. Given the nature of human reality, the interpretation of dreams is a tautology and at best could be justified only by daylight's ratio to darkness. It's doubtful, though, that this democratic principle is operational in nature, where nothing enjoys a majority. Not even water, though it reflects and refracts everything, including itself, alternating forms and substances, sometimes gently, sometimes monstrously. That's what accounts for the quality of winter light here; that's what explains its fondness for little monsters, as well as for cherubs. Presumably cherubs, too, are part of the species' evolution. Or else it is the other way around, for if one was to take their census in this city, they might outnumber the natives.

Monsters, however, command more of one's attention. If only because this term has been hurled at one more frequently than the other; if only because in our parts one gains wings only in the air force. One's guilty conscience would be enough to identify oneself with any of these marble, bronze, or plaster concoctions—with the dragon, to say the least, rather than with San Giorgio. In a line of work involving the dipping of a pen into an inkpot, one can identify with both. After all, there is no saint without a monster—not to mention the ink's octopal affinity. But even without reflecting upon or refracting this idea, it is clear that this is a city of fish, caught and swimming around alike. And seen by a fish-endowed, let's say, with a human eye, in order to avoid its own famous distortion-man would appear a monster indeed; not an octopus, perhaps, but surely a quadropus.

Something, to say the least, far more complex than the fish itself. Small wonder, then, that sharks are after us so much. Should one ask a simple orate—not even a caught one, in a free state—what it thinks one looks like, it will reply, You are a monster. And the conviction in its voice will be oddly familiar, as though its eye is of the mustard-and-honey variety.

So you never know as you move through these labyrinths whether you are pursuing a goal or running from yourself, whether you are the hunter or his prey. Surely not a saint, but perhaps not yet a full-scale dragon; hardly a Theseus, but not a maiden-starved Minotaur either. The Greek version rings, though, a better bell, since the winner gets nothing, because the slayer and the slain are related. The monster, after all, was the prize's half brother; in any case, he was half brother to the hero's eventual wife. Ariadne and Phaedra were sisters, and for all we know, the brave Athenian had them both. In fact, with an eye on marrying into the Cretan king's family, he might have accepted the murderous commission to make the family more respectable. As granddaughters of Helios, the girls were supposed to be pure and shining; their names suggested as much. Why, even their mother, Pasiphae, was, for all her dark urges, Blindingly Bright. And perhaps she yielded to those dark urges and did it with the bull precisely to prove that nature neglects the majority principle, since the bull's horns suggest the moon. Perhaps she was interested in chiaroscuro rather than in bestiality and eclipsed the bull for purely optical reasons.

And the fact that the bull, whose symbolism-laden pedigree ran all the way back to cave paintings, was blind enough to mistake the artificial cow Daedalus built for Pasiphae on this occasion is her proof that her ancestry still holds the upper hand in the system of causality, that Helios' light, refracted in her, Pasiphae, is still—after four children (two fine daughters and two good-for-nothing boys)—blindingly bright.

As far as the principle of causality is concerned, it should be added that the main hero in this story is precisely Daedalus, who, apart from a very convincing cow, built this time on the king's request—the very labyrinth in which the bull-headed offspring and his slayer got to face each other one day, with

disastrous consequences for the former. In a manner of speaking, the whole business is Daedalus' brain child, the labyrinth especially, as it resembles a brain. In a manner of speaking, everybody is related to everybody, the pursuer to the pursued, at least. Small wonder, then, that one's meanderings through the streets of this city, whose biggest colony for nearly three centuries was the island of Crete, feels somewhat tautological, especially as light fades that is, especially as its pasiphaian, ariadnan, and phaedran properties fail. In other words, especially in the evening, when one loses oneself to self-deprecation.

On the brighter side there are, of course, lots of lions: winged ones, with their books opened on "Peace upon you, St. Mark the Evangelist," or lions of regular feline appearance. The winged ones, strictly speaking, belong in the category of monsters, too. Given my occupation, however, I've always regarded them as a more agile and literate form of Pegasus, who can surely fly, but whose ability to read is somewhat more doubtful. A paw, at any rate, is a better instrument for turning pages than a hoof. In this city the lions are ubiquitous, and over the years I've unwittingly come to share this totem to the point of placing one of them on the cover of one of my books: the closest a man gets in my line of work to having his own facade. Yet monsters they are, if only because they are products of the city's fantasy, since even at the zenith of this republic's maritime might it controlled no territory where this animal could be found even in its wingless state. (The Greeks were more on the dot with their bull, its neolithic pedigree notwithstanding.)

As for the Evangelist himself, he of course died in Alexandria, Egypt-but of natural causes-and he never went on a safari. In general, Christendom's truck with lions is negligible, as they could not be found in its domain, dwelling solely in Africa, and in deserts at that. This of course helped toward their subsequent association with desert fathers; other than that, the Christians could have encountered the animal only as its diet in Roman circuses, where lions were imported from African shores for entertainment. Their unfamiliarity-better to say, their nonexistence-was what would unleash the ancients' fantasy, enabling them to attribute to the animals various aspects of otherworldliness, including those of divine commerce. So it's not entirely wild to have this animal sitting on Venetian fasades in the unlikely role of the guardian of St. Mark's eternal repose; if not the Church, then the city itself could be seen as a lioness protecting its cub. Besides, in this city, the Church and the state have merged, in a perfectly Byzantine fashion. The only case, I must add, where such a merger turned out-quite early on-to be to the subjects' advantage.

No wonder, then, that the place was literally lionized, that the lion itself got lionized, which is to say humanized. On every cornice, over nearly every entrance, you see either its muzzle, with a human look, or a human head with leonine features. Both, in the final analysis, qualify as monsters (albeit of the benevolent sort), since neither ever existed. Also, because of their numerical superiority over any other carved or sculpted image, including that of the Madonna or the Redeemer Himself. On the other hand, it's easier to carve a beast than a human figure. Basically, the animal kingdom fared poorly in Christian art-not to mention the doctrine. So the local pride of *Felidae* may regard itself as their kingdom's way of getting even. In winter, they brighten one's dusk.

Once, in a dusk that darkened gray pupils but brought gold to those of the mustard-cum-honey variety, the owner of the latter and I encountered an Egyptian wars-hip-a light cruiser, to be precise-moored at the Fonda-menta dell'Arsenale, near the Giardini. I can't recall its name now, but its home port was definitely Alexandria. It was a highly modern piece of naval hardware, bristling with all sorts of antennae, radar, satellite dishes, rocket launchers, anti-aircraft turrets, etc., apart from the usual large-caliber guns. From a distance you couldn't tell its nationality. Even close up you could be confused, because the uniforms and general deportment of the crew aboard looked vaguely British. The flag was already lowered, and the sky over the laguna was changing from Bordeaux to dark por-

phyry. As we marveled at the nature of the errand that brought this man-of-war here- a need for repairs? a new courtship between Venice and Alexandria? to reclaim the holy relic stolen from the latter in the twelfth century?-its loudspeakers suddenly came to life and we heard, "Allah! Akbar Allah! Akbar!" The muezzin was calling the crew to evening prayer, the ship's two masts momentarily turning to minarets. All at once the cruiser was Istanbul in profile. I felt that the map had suddenly folded or the book of history had shut before my eyes. At least that it had become six centuries shorter: Christianity was no longer Islam's senior. The Bosphorus was overlapping the Adriatic, and you couldn't tell which wave was which. A far cry from architecture.

On winter evenings the sea, welled by a contrary easterly, fills every canal to the brim like a bathtub, and at times overflows them. Nobody runs up from downstairs crying, "The pipes!" as there is no downstairs. The city stands ankle-deep in water, and boats, "hitched like animals to the walls," to quote Cassiodorus, prance.

The pilgrim's shoe, having tested the water, is drying atop his hotel room's radiator; the native dives into his closet to fish out his pair of rubber boots. "*Acqua alta*," says a voice over the radio, and human traffic subsides. Streets empty; stores, bars, restaurants and trattorias close. Only their signs continue burning, finally getting a piece of the narcissistic action as the pavement briefly, superficially, catches up with the canals. Churches, however, remain open, but then treading upon water is no news to either clergy or parishioners; neither to music, water's twin.

Seventeen years ago, wading aimlessly through one campo after another, a pair of green rubber boots brought me to the threshold of a smallish pink edifice. On its wall I saw a plaque saying that Antonio Vivaldi, prematurely born, was baptized in this church. In those days I was still reasonably red-haired; I felt sentimental about bumping into the place of baptism of that "red cleric" who has given me so much joy on so many occasions and in so many godforsaken parts of the world.

And I seemed to recall that it was Olga Rudge who had organized the first-ever Vivaldi *settimana* in this city-as it happened, just a few days before World War II broke out.

It took place, somebody told me, in the palazzo of the Countess Polignac, and Miss Rudge was playing the violin. As she proceeded with the piece, she noticed out of the corner of her eye that a gentleman had entered the salone and stood by the door, since all the seats were taken. The piece was long, and now she felt somewhat worried, because she was approaching a passage where she had to turn the page without interrupting her play. The man in the corner of her eye started to move and soon disappeared from her field of vision. The passage grew closer, and her nervousness grew, too. Then, at exactly the point where she had to turn the page, a hand emerged from the left, stretched to the music stand, and slowly turned the sheet. She kept playing and, when the difficult passage was over, lifted her eyes to the left to acknowledge her gratitude. "And that," Olga Rudge told a friend of mine, "is how I first met Stravinsky."

So you may enter and stand through the service. The singing will be a bit subdued, presumably on account of the weather. If you can excuse it in this way, so, no doubt, will its Addressee. Besides, you can't follow it that well, whether it's in Italian or Latin. So you just stand or take a pew in the rear and listen. "The best way to hear Mass," Wystan Auden used to say, "is when you don't know the language." True, ignorance helps concentration on such occasions no less than the poor lighting from which the pilgrim suffers in every Italian church, especially in winter. Dropping coins into an illumination box while the service is in progress is not nice. What's more, you often don't have enough of them in your pocket to appreciate the picture fully. In days of yore I carried with me a powerful, New-York-City-Poli- ce-Department-issue flashlight.

One way to get rich, I thought, would be to start manufacturing miniature flashbulbs like those they mount on cameras, but of great duration.

I'd call it "Lasting Flash," or, better yet, "*Fiat Lux*" and in a couple of years I'd buy an apartment somewhere in San Lio or Salute. I'd even marry my partner's secretary, which he doesn't have since he doesn't exist... The music subsides; its twin, however, has risen, you discover upon stepping outside-not significantly, but enough for you to feel reimbursed for the faded chorale. For water, too, is choral, in more ways than one. It is the same water that carried the Crusaders, the merchants, St. Mark's relics, Turks, every kind of cargo, military, or pleasure vessel; above all, it reflected everybody who ever lived, not to mention stayed, in this city, everybody who ever strolled or waded its streets in the way you do now. Small wonder that it looks muddy green in the daytime and pitch black at night, rivaling the firmament. A miracle that, rubbed the right and the wrong way for over a millennium, it doesn't have holes in it, that it is still H2O, though you would never drink it; that it still rises.

It really does look like musical sheets, frayed at the edges, constantly played, coming to you in tidal scores, in bars of canals with innumerable obbligati of bridges, mul-lioned windows, or curved crownings of Coducci cathedrals, not to mention the violin necks of gondolas. In fact, the whole city, especially at night, resembles a gigantic orchestra, with dimly lit music stands of palazzi, with a restless chorus of waves, with the falsetto of a star in the winter sky. The music is, of course, greater than the band, and no hand can turn the page.

That's what worries the band, or more exactly, its conductors, the city fathers. According to their calculations, this city, during this century alone, has sagged twenty-three centimeters. So what appears spectacular to the tourist is a full-scale headache for the native. And if it were only a headache, that would be fine. But the headache is crowned with an increasing apprehension, not to say fear, that what lies in store for the city is the fate of Atlantis. The fear is not without foundation, and not only because the city's uniqueness does amount to a civilization of its own. The main danger is perceived to be high winter tides; the rest is done by the mainland's industry and agriculture silting the laguna with their chemical wastes, and by the deterioration of the city's own clogged canals. In my line of work, though, ever since the Romantics, human fault has appeared to be a likelier culprit when it comes to disaster than any *forza del destino*. (That an insurance man can tell these two apart is indeed a feat of imagination.) So, prey to tyrannical impulses, I would install some sort of flap gate to stem the sea of humanity, which has swelled in the last two decades by two billion and whose crest is its refuse.

I'd freeze the industry and the residence in the twenty-mile zone along the northern shore of the laguna, drag and dredge the city's canals (I'd either use the military to carry out this operation or pay local companies double time) and seed them with fish and the right kind of bacteria to keep them clean.

I have no idea what kind of fish or bacteria these are, but I'm pretty sure they exist: tyranny is seldom synonymous with expertise. At any rate, I'd call Sweden and ask the Stockholm municipality for advice: in that city, with all its industry and population, the moment you step out of your hotel, the salmon leap out of the water to greet you. If it is the difference in temperature that does it, then one could try dumping blocks of ice into the canals or, failing that, routinely void the natives' freezers of ice cubes, since whiskey is not very much in vogue here, not even in winter.

"Why, then, do you go there at such a season?" my editor asked me once, sitting in a Chinese restaurant in New York with his gay English charges. "Yes, why do you?" they echoed their prospective benefactor. "What is it like there in winter?"

I thought of telling them about *acqua alta*; about the various shades of gray in the window as one sits at breakfast in one's hotel, enveloped by silence and the mealy morning pall of newly-weds' faces; about pigeons accentuating every curve and cornice of the local Baroque in their dormant affinity for architecture; about a lonely monument to Francesco Querini and his two huskies carved out of Istrian stone similar, I think, in its hue, to what he saw last, dying, on his ill-fated journey to the North Pole, now listening to the Giardini's rustle of evergreens in the company of Wagner and Carducci; about a

brave sparrow perching on the bobbing blade of a gondola against the backdrop of a sirocco-roiled damp infinity. No, I thought, looking at their effete but eager faces; no, that won't do. "Well," I said, "it's like Greta Garbo swimming."

Over these years, during my long stays and brief sojourns here, I have been, I think, both happy and unhappy in nearly equal measure. It didn't matter which, if only because I came here not for romantic purposes but to work, to finish a piece, to translate, to write a couple of poems, provided I could be that lucky; simply to be. That is, neither for a honeymoon (the closest I ever came to that was many years ago, on the island of Ischia, or else in Siena) nor for a divorce. And so I worked. Happiness or unhappiness would simply come in attendance, although sometimes they'd stay longer than I did, as if waiting on me.

It is a virtue, I came to believe long ago, not to make a meal out of one's emotional life. There's always enough work to do, not to mention that there's world enough outside. In the end, there's always this city. As long as it exists, I don't believe that I, or, for that matter, anyone, can be mesmerized or blinded by romantic tragedy. I remember one day—the day I had to leave after a month here alone. I had just had lunch in some small trattoria on the remotest part of the Fondamente Nuove, grilled fish and half a bottle of wine.

With that inside, I set out for the place I was staying, to collect my bags and catch a vaporetto. I walked a quarter of a mile along the Fondamente Nuove, a small moving dot in that gigantic watercolor, and then turned right by the hospital of Giovanni e Paolo. The day was warm, sunny, the sky blue, all lovely. And with my back to the Fondamente and San Michele, hugging the wall of the hospital, almost rubbing it with my left shoulder and squinting at the sun, I suddenly felt: I am a cat. A cat that has just had fish. Had anyone addressed me at that moment, I would have meowed. I was absolutely, animally happy. Twelve hours later, of course, having landed in New York, I hit the worst possible mess in my life—or the one that appeared that way at the time. Yet the cat in me lingered; had it not been for that cat, I'd be climbing the walls now in some expensive institution.

At night, there is not much to do here. Opera and church recitals are options, of course, but they require some initiative and arrangement: tickets and schedules and so forth. I am not good at that; it's rather like fixing a three-course meal all for yourself—perhaps even lonelier. Besides, my luck is such that whenever I considered an evening at La Fenice, they would be having a week-long run of Tchaikovsky or Wagner—equals, as far as my allergy is concerned. Never once Donizetti or Mozart! That leaves reading and strolling dully along, which is about the same, since at night these narrow stony gennels are like passages between the bookshelves of some immense, forgotten library, and equally quiet. All the "books" are shut tight, and you guess what they are about only by the names on their spines, under the doorbell. Oh, there you can find your Donizettis and Rossinis, your Lullys and Frescobaldis! Maybe even a Mozart, maybe even a Haydn. Or else these streets are like wardrobe racks: all the clothes are of dark, peeling fabric, but the lining is ruby and shimmering gold.

Goethe called this place the "republic of beavers," but perhaps Montesquieu with his resolute "*un endroit ou il devrait n'avoir que des poissons*" was more on the mark.

For, now and then, across the canal, two or three well-lit, tall, rounded windows, half shaded with gauze or tulle, reveal an octopal chandelier, the lacquered fin of a grand piano, opulent bronze framing auburn or rube-scent oils, the gilded rib cage of a ceiling's beams—and you feel as though you are looking into a fish through its scales, and inside of it there's a party. At a distance across a canal—you can hardly tell the guests from their hostess. With all due respect to the best available creed, I must say I don't think this place has evolved from the famous chordate only, triumphant or not. I suspect and submit that, in the first place, it evolved from the very element that gave that chordate life and shelter and which, for me at least, is synonymous with time. The element comes in many shapes and

hues, with many different properties apart from those of Aphrodite and the Redeemer: lull, storm, crest, wave, froth, ripple, etc., not to mention the marine organisms. In my mind, this city limns all discernible patterns of the element and its contents. Splashing, glittering, glowing, glinting, the element has been casting itself upward for so long that it is not surprising that some of these aspects eventually acquired mass, flesh, and grew solid. Why it should have happened here, I have no idea. Presumably because the element here had heard Italian.

The eye is the most autonomous of our organs. It is so because the objects of its attention are inevitably situated on the outside. Except in a mirror, the eye never sees itself. It is the last to shut down when the body is falling asleep. It stays open when the body is stricken with paralysis or dead. The eye keeps registering reality even when there is no apparent reason for doing this, and under all circumstances.

The question is: Why? And the answer is: Because the environment is hostile. Eyesight is the instrument of adjustment to an environment which remains hostile no matter how well you have adjusted to it. The hostility of the environment grows proportionately to the length of your presence in it, and I am speaking not of old age only. In short, the eye is looking for safety. That explains the eye's predilection for art in general and Venetian art in particular. That explains the eye's appetite for beauty, as well as beauty's own existence. For beauty is solace, since beauty is safe. It doesn't threaten you with murder or make you sick. A statue of Apollo doesn't bite, nor will Carpaccio's poodle. When the eye fails to find beauty-alias solace-it commands the body to create it, or, failing that, adjusts itself to perceive virtue in ugliness.

In the first instance, it relies on human genius; in the second, it draws on one's reservoir of humility. The latter is in greater supply, and like every majority tends to make laws. Let's have an illustration; let's take a young maiden. At a certain age one eyes passing maidens without applied interest, without aspiring to mount them.

Like a TV set left switched on in an abandoned apartment, the eye keeps sending in images of all these 5'8" miracles, complete with light chestnut hair, Perugino ovals, gazelle eyes, nurse-like bosoms, wasp waists, dark-green velvet dresses, and razor-sharp tendons. An eye may zero in on them in a church at someone's wedding or, worse still, in a bookstore's poetry section. Reasonably farsighted or resorting to the counsel of the ear, the eye may learn their identities (which come with names as breathtaking as, say, Arabella Ferri) and, alas, their dishearteningly firm romantic affiliations. Regardless of such data's uselessness, the eye keeps collecting it.

In fact, the more useless the data, the sharper the focus. The question is why, and the answer is that beauty is always external; also, that it is the exception to the rule. That's what-its location and its singularity-sends the eye oscillating wildly or- in militant humility's parlance-roving. For beauty is where the eye rests. Aesthetic sense is the twin of one's instinct for self-preservation and is more reliable than ethics. Aesthetics' main tool, the eye, is absolutely autonomous. In its autonomy, it is inferior only to a tear.

A tear can be shed in this place on several occasions. Assuming that beauty is the distribution of light in the fashion most congenial to one's retina, a tear is an acknowledgment of the retina's, as well as the tear's, failure to retain beauty. On the whole, love comes with the speed of light; separation, with that of sound. It is the deterioration of the greater speed to the lesser that moistens one's eye. Because one is finite, a departure from this place always feels final; leaving it behind is leaving it forever.

For leaving is a banishment of the eye to the provinces of the other senses; at best, to the crevices and crevasses of the brain. For the eye identifies itself not with the body it belongs to but with the object of its attention. And to the eye, for purely optical reasons, departure is not the body leaving the city but the city abandoning the pupil. Likewise, disappearance of the beloved, especially a gradual

one, causes grief no matter who, and for what peripatetic reason, is actually in motion. As the world goes, this city is the eye's beloved. After it, everything is a letdown. A tear is the anticipation of the eye's future.

To be sure, everybody has designs on her, on this city. Politicians and big businesses especially, for nothing has a greater future than money. It is so much so that money feels synonymous with the future and tries to order it.

Hence the wealth of frothy outpourings about revamping the city, about turning the entire province of Veneto into a gateway to Central Europe, about boosting the region's industry, expanding the harbor complex at Marghera, increasing the oil-tanker traffic in the *laguna* and deepening the *la-gu-na* for the same purposes, about converting the Venetian Arsenale, immortalized by Dante, into the Beaubourg's spitting-literally-image for storing the most recently discharged phlegm, about housing an Expo here in the year 2000, etc. All this drivel normally gushes out of the same mouth, and often on the same breath, that blabbers about ecology, protection, restoration, cultural patrimony, and what-not. The goal of all that is one: rape. No rapist, though, wants to regard himself as such, let alone get caught. Hence the mixture of objectives and metaphors, high rhetoric and lyrical fervor swelling the barrel chests of parliamentary deputies and *commendatore* alike.

Yet while these characters are far more dangerous- indeed more harmful-than the Turks, the Austrians, and Napoleon all lumped together, since money has more battalions than generals, in the seventeen years that I've frequented this city very little has changed here. What saves Venice, like Penelope, from her suitors is their rivalry, the competitive nature of capitalism boiled down to fat cats' blood relations to different political parties. Lobbing spanners into each other's machinery is something democracy is awfully good at, and the leapfrogging of Italian cabinets has proved to be the city's best insurance. So has the mosaic of the city's own political jigsaw. There are no doges anymore, and the dwellers of these 118 islands are guided not by the grandeur of some particular vision but by their immediate, often nearsighted concerns, by their desire to make ends meet.

Farsightedness here, however, would be counterproductive. In a place this size, twenty or thirty people out of work are the city council's instant headache, which, apart from islands' innate mistrust of the mainland, makes for a poor reception of the latter's blueprints, however breathtaking.

Appealing as they may be elsewhere, promises of universal employment and growth make little sense in a city barely eight miles in circumference, which even at the apogee of its maritime fortunes never exceeded souls. Such prospects may thrill a shopkeeper or perhaps a doctor; a mortician, though, would object, since the local cemeteries are jammed as it is and the dead now should be buried on the mainland. In the final analysis, that's what the mainland is good for.

Still, had the mortician and the doctor belonged to different political parties, that would be fine, some progress could be made. In this city, they often belong to the same, and things get stalled rather early, even if the party is the PCI. In short, underneath all these squabbles, unwitting ones or otherwise, lies the simple truth that islands don't grow. That's what money, a.k.a. the future, a.k.a. voluble politicians and fat cats, can't take, fails to grasp.

What's worse, it feels defied by this place, since beauty, *a fait accompli* by definition, always defies the future, regarding it as nothing so much as an overblown, impotent present, or as its fading ground. If this place is reality (or, as some claim, the past), then the future with all its aliases is excluded from it. At best, it amounts to the present. And perhaps nothing proves this better than modern art, whose poverty alone makes it prophetic. A poor man always speaks for the present, and perhaps the sole function of collections like Peggy Guggenheim's and the similar accretions of this century's stuff habitually mounted here is to show what a cheap, self-assertive, ungenerous, one-dimensional lot we have become, to instill humility in us: there is no other outcome thinkable against the background of this Penelope of a city, weaving her patterns by day and undoing them by night, with no Ulysses in sight. Only the sea.

I think it was Hazlitt who said that the only thing that could beat this city of water would be a city built in the air. That was a Calvinoesque idea, and who knows, as an upshot of space travel, that may yet come to pass. As it is, apart from the moon landing, this century may be best remembered by leaving this place intact, by just letting it be. I, for one, would advise even against gentle interference. Of course, film festivals and book fairs are in tune with the flickering of the canals' surface, with their curlicue, sirocco-perused scribbles. And of course, turning this place into a capital of scientific research would be a palatable option, especially taking into account the likely advantages of the local phosphorus-rich diet for any mental endeavor. The same bait could be used for moving the EEC headquarters here from Brussels and the European parliament from Strasbourg. And of course, a better solution would be to give this city and some of its environs the status of a national park. Yet I would argue that the idea of turning Venice into a museum is as absurd as the urge to revitalize it with new blood. For one thing, what passes for new blood is always in the end plain old urine. And secondly, this city doesn't qualify to be a museum, being itself a work of art, the greatest masterpiece our species produced. You don't revive a painting, let alone a statue.

You leave them alone, you guard them against vandals- whose hordes may include yourself.

Seasons are metaphors for available continents, and winter is always somewhat antarctic, even here. The city doesn't rely on coal as much as it used to; now it's gas. The magnificent, trumpetlike chimneys resembling medieval turrets in the backdrop of every Madonna and Crucifixion idle and gradually crumble away from the local skyline. As a result you shiver and go to bed with your woolen socks on, because radiators keep their erratic cycles here even in hotels.

Only alcohol can absorb the polar lightning shooting through your body as you set your foot on the marble floor, slippers or no slippers, shoes or no shoes. If you work in the evening you burn parthenons of candles-not for ambience or better light, but for their illusory warmth; or else you move to the kitchen, light the gas stove, and shut the door. Everything emanates cold, the walls especially. Windows you don't mind because you know what to expect from them.

In fact, they only pass the cold through, whereas walls store it. I remember once spending the month of January in an apartment on the fifth floor of a house near the church of Fava. The place belonged to a descendant of none other than Ugo Foscolo. The owner was a forest engineer or some such thing, and was, naturally, away on business. The apartment wasn't that big: two rooms, sparsely furnished. The ceiling, though, was extraordinarily high and the windows were correspondingly tall. There were six or seven of them, as the apartment was a corner one. In the middle of the second week the heating went off. This time I was not alone, and my comrades-in-arms and I drew lots as to who would have to sleep by the wall. "Why should I always go to the wall?" she'd ask beforehand. "Because I'm a victim?" And her mustard-and-honey eyes would darken with incredulity upon losing.

She would bundle up for the night-pink woolen jersey, scarf, stockings, long socks-and, having counted uno, due, three jump into the bed as though it were a dark river. To her, an Italian, a Roman, with a dash of Greek blood in her veins, it probably was. "The only thing I disagree with in Dante," she used to remark, "is the way he describes Hell. To me, Hell is cold, very cold. I'd keep the circles but make them of ice, with the temperature dropping with every spiral. Hell is the Arctic." She meant it, too. With the scarf around her neck and head she looked like Francesco Querini on that statue in the Giardini, or like the famous bust of Petrarch (who, in turn, to me is the very image of Montale, or, rather, vice versa). There was no telephone in that place; a jumble of tuba-like chimneys loomed in the dark sky. The whole thing felt like the Flight to Egypt, with her playing both the woman and the child, and me my namesake and the donkey; after all, it was January. "Between Herod of the past and Pharaoh of the future," I kept telling myself. "Between Herod and Pharaoh, that's where we are." In the end I fell ill.

Cold and dampness got me-or rather my chest muscles and nerves, messed up by surgeries. The cardiac cripple in me panicked and she somehow shoved me onto the train for Paris, as we both were unsure of the local hospitals, much though I adore the facade of Giovanni e Paolo. The carriage was warm, my head was splitting from nitro pills, a bunch of *bersaglieri* in the compartment were celebrating their home leave with Chianti and a ghetto blaster. I wasn't sure whether I would make it to Paris; but what was interfering with my fear was the clear sense that, should I manage, in no time at all-well, in a year-I'd be back to the cold place between Herod and Pharaoh.

Even then, huddling on the wooden bench of my compartment, I was fully aware of this feeling's absurdity; yet as long as it could help me to see through my fear, absurdity was welcome. The trundling of the carriage and the effect of its constant vibration on one's frame did, I suppose, the rest, rearranging or messing up my muscles, etc., even further. Or maybe it was just that the heating in the carriage worked. At any rate, I made Paris, had a passable EKG, and boarded my plane for the States. In other words, lived to tell the story, and the story itself to repeat.

"Italy," Anna Akhmatova used to say, "is a dream that keeps returning for the rest of your life." It must be noted, though, that the arrival of dreams is irregular and their interpretation is yawn-inspiring. Furthermore, should dreams ever be designated a genre, their main stylistic device would doubtless be the non sequitur. That at least could be a justification for what has transpired thus far in these pages. Also, that could explain my attempts over all these years to secure that dream's recurrence, manhandling my superego in the process no less savagely than my unconscious. To put it bluntly, I kept returning myself to the dream, rather than the other way around.

Sure enough, somewhere along the line I had to pay for this sort of violence, either by eroding what constituted my reality or by forcing the dream to acquire mortal features, the way the soul does in the course of one's lifetime. I guess I paid in both ways; and I didn't mind it either, especially the latter, which would take the form of a Cartavenezia (exp. date, Jan. 1988) in my wallet, anger in those eyes of a particular variety (trained, and as of the same date, on better sights), or something equally finite. The reality suffered more, and often I would be crossing the Atlantic on my way home with a distinct feeling of traveling from history into anthropology. For all the time, blood, ink, money, and the rest that I shed or shelled out here, I never could convincingly claim, even to myself, that I'd acquired any local traits, that I'd become, in however minuscule a manner, a Venetian. A vague smile of recognition on the face of a hotelier or a trattoria proprietor didn't count; nor could anyone be deceived by the clothes I'd purchased locally. Gradually, I've become a transient in either realm, with the failure of convincing the dream of my presence in it being somewhat more disheartening.

That, of course, was familiar. Yet I suppose a case could be made for fidelity when one returns to the place of one's love, year after year, in the wrong season, with no guarantee of being loved back. For, like every virtue, fidelity is of value only so long as it is instinctive or idiosyncratic, rather than rational. Besides, at a certain age, and in a certain line of work at that, to be loved back is not exactly imperative. Love is a selfless sentiment, a one-way street.

That's why it is possible to love cities, architecture per se, music, dead poets, or, given a particular temperament, a deity. For love is an affair between a reflection and its object. This is in the end what brings one back to this city-the way the tide brings the Adriatic and, by extension, the Atlantic and the Baltic. At any rate, objects don't ask questions: as long as the element exists, their reflection is guaranteed-in the form of a returning traveler or in the form of a dream, for a dream is the fidelity of the shut eye. That's the sort of confidence our own kind is lacking, although we are part water.

Should the world be designated a genre, its main stylistic device would no doubt be water. If that doesn't happen, it is either because the Almighty, too, doesn't seem to have much in the way of alternatives, or because a thought itself possesses a water pattern. So does one's handwriting; so do one's

emotions; so does blood. Reflection is the property of liquid substances, and even on a rainy day one can always prove the superiority of one's fidelity to that of glass by positioning oneself behind it. This city takes one's breath away in every weather, the variety of which, at any rate, is somewhat limited. And if we are indeed partly synonymous with water, which is fully synonymous with time, then one's sentiment toward this place improves the future, contributes to that Adriatic or Atlantic of time which stores our reflections for when we are long gone. Out of them, as out of frayed sepia pictures, time will perhaps be able to fashion, in a collage-like manner, a version of the future better than it would be without them. This way one is a Venetian by definition, because out there, in its equivalent of the Adriatic or Atlantic or Baltic, time- alias-water crochets or weaves our reflections-alias love for this place-into unrepeatable patterns, much like the withered old women dressed in black all over this littoral's islands, forever absorbed in their eye-wrecking lacework. Admittedly, they go blind or mad before they reach the age of fifty, but then they get replaced by their daughters and nieces. Among fishermen's wives, the Parcae never have to advertise for an opening.

The one thing the locals never do is ride gondolas. To begin with, a gondola ride is pricey. Only foreign tourists, and well-off ones at that, can afford it.

That's what explains the median age of gondola passengers: a septuagenarian can shell out one-tenth of a schoolteacher's salary without wincing.

The sight of these decrepit Romeos and their rickety Juliets is invariably sad and embarrassing, not to say ghastly. For the young, i. e., for those for whom this sort of thing would be appropriate, a gondola is as far out of reach as a five-star hotel. Economy, of course, reflects demography; yet that is doubly sad, because beauty, instead of promising the world, gets reduced to being its reward.

That, in parenthesis, is what drives the young to nature, whose free, or, more exactly, cheap delights are free-i. e., devoid-of the meaning and invention present in art or in artifice. A landscape can be thrilling, but a facade by Lombardini tells you what you can do. And one way-the original way-of looking at such facades is from a gondola: this way you can see what the water sees. Of course, nothing could be further from the locals' agendas as they scurry and bustle about on their daily rounds, properly oblivious or even allergic to the surrounding splendor. The closest they come to using a gondola is when they're ferried across the Grand Canal or carrying home some unwieldy purchase-a washing machine, say, or a sofa. But neither a ferryman nor a boat owner would on such occasions break into "*sole mio*." Perhaps the indifference of a native takes its cue from artifice's own indifference to its own reflection. That could be the locals' final argument against the gondola, except that it could be countered by the offer of a ride at nighttime, to which I once succumbed.

The night was cold, moonlit, and quiet. There were five of us in the gondola, including its owner, a local engineer who, together with his girlfriend, did all the paddling. We moseyed and zigzagged like an eel through the silent town hanging over our heads, cavernous and empty, resembling at this late hour a vast, largely rectangular coral reef or a succession of uninhabited grottoes. It was a peculiar sensation: to find yourself moving within what you're used to glancing across-canal; it felt like acquiring an extra dimension. Presently we glided into the lagoon and headed toward the island of the dead, toward San Michele. The moon, pitched extraordinarily high, like some mind-bogglingly sharp tip crossed by a cloud's ledger sign, was barely available to the sheet of water, and the gondola's gliding too was absolutely noiseless. In fact, there was something distinctly erotic in the noiseless and traceless passage of its lithe body upon the water-much like sliding your palm down the smooth skin of your beloved. Erotic, because there were no consequences, because the skin was infinite and almost immobile, because the caress was abstract. With us inside, the gondola was perhaps slightly heavy, and the water momentarily yielded underneath, only to close the gap the very next second. Also, powered by a man and a woman, the gondola wasn't even masculine. In fact, it was an eroticism not of genders but of elements, a perfect match of their equally lacquered surfaces. The sensation was

neutral, almost incestuous, as though you were present as a brother caressed his sister, or vice versa. In this manner we circled the island of the dead and headed back to Canareggio... Churches, I always thought, should stay open all night; at least the Madonna dell' Orto should- not so much because of the likely timing of the soul's agony as because of the wonderful Bellini Madonna with Child in it.

I wanted to disembark there and steal a glance at the painting, at the inch-wide interval that separates her left palm from the Child's sole. That inch-ah, much less!-is what separates love from eroticism. Or perhaps that's the ultimate in eroticism.

But the cathedral was closed and we proceeded through the tunnel of grottoes, through this abandoned, flat, moonlit Piranesian mine with its few sparkles of electric ore, to the heart of the city. Still, now I knew what water feels like being caressed by water.

We disembarked near the concrete crate of the Bauer Griinwald Hotel, rebuilt after the war, toward the end of which it was blown up by the local partisans because it housed the German command. As an eyesore, it keeps good company with the church of San Moise-the busiest facade in town. Together, they look like Albert Speer having a pizza capric-ciosa. I've never been inside either, but I knew a German gentleman who stayed in this crate-like structure and found it very comfortable. His mother was dying while he was on vacation here and he spoke to her daily over the telephone. When she expired he convinced the management to sell him the telephone's receiver. The management understood, and the receiver was included in the bill. But then he was most likely a Protestant, while San Moise is a Catholic church, not to mention its being closed at night.

Equidistant from our respective abodes, this was as good a place to disembark as any. It takes about an hour to cross this city by foot in any direction. Provided, of course, that you know your way, which by the time I stepped out of that gondola I did. We bade each other farewell and dispersed. I walked toward my hotel, tired, not even trying to look around, mumbling to myself some odd, God-knows-from-where-dredged-up lines, like "Pillage this village," or "This city deserves no pity."

That sounded like early Auden, but it wasn't. Suddenly I wanted a drink. I swerved into San Marco in the hope that Florian's was still open. It was closing; they were removing the chairs from the arcade and mounting wooden boards on the windows. A short negotiation with the waiter, who had already changed to go home but whom I knew slightly, had the desired result; and with that result in hand I stepped out from under the arcade and scanned the piazza. It was absolutely empty, not a soul. Its four hundred rounded windows were running in their usual maddening order, like idealized waves. This sight always reminded me of the Roman Colosseum, where, in the words of a friend of mine, somebody invented the arch and couldn't stop. "Pillage this village," I was still muttering to myself. "This city deserves." Fog began to engulf the piazza. It was a quiet invasion, but an invasion nonetheless. I saw its spears and lances moving silently but very fast, from the direction of the laguna, like foot soldiers preceding their heavy cavalry. "Silently, and very fast," I said to myself.

Any time now you could anticipate their king, King Fog, appearing from around the corner in all his cumulus glory. "Silently, and very fast," I repeated to myself. Now, that was Auden's last line from his "Fall of Rome," and it was this place that was "altogether elsewhere." All of a sudden I felt he was behind me, and I turned as fast as I could. A tall, smooth window of Florian's that was reasonably well lit and not covered with a board gleamed through the patches of fog. I walked toward it and looked inside. Inside, it was 195?. On the red plush divans, around a small marbled table with a kremlin of drinks and teapots on it, sat Wystan Auden, with his great love, Chester Kallman, Cecil Day Lewis and his wife, Stephen Spender and his. Wystan was telling some funny story and everybody was laughing. In the middle of the story, a well-built sailor passed by the window; Chester got up and, without so much as a "See you later," went in hot pursuit. "I looked at Wystan," Stephen told me years later. "He kept laughing, but a tear ran down his cheek." At this point, for me, the window had gone dark. King

Fog rode into the piazza, reined in his stallion, and started to unfurl his white turban. His buskins were wet, so was his charivari; his cloak was studded with the dim, myopic jewels of burning lamps. He was dressed that way because he hadn't any idea what century it was, let alone which year. But then, being fog, how could he?

Let me reiterate: Water equals time and provides beauty with its double. Part water, we serve beauty in the same fashion. By rubbing water, this city improves time's looks, beautifies the future. That's what the role of this city in the universe is. Because the city is static while we are moving. The tear is proof of that. Because we go and beauty stays. Because we are headed for the future, while beauty is the eternal present. The tear is an attempt to remain, to stay behind, to merge with the city. But that's against the rules. The tear is a throwback, a tribute of the future to the past. Or else it is the result of subtracting the greater from the lesser: beauty from man. The same goes for love, because one's love, too, is greater than oneself.

November 1989

Fondamenta degli incurabili (Набережная Неисцелимых)

Роберту Моргану

1.

Много лун тому назад доллар равнялся 870 лирам, и мне было 32 года. Планета тоже весила на два миллиарда душ меньше, и бар той Стасьоне, куда я прибыл холодной декабрьской ночью, был пуст. Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала.

Всякий путешественник знает этот расклад: эту смесь усталости и тревоги. Когда разглядываешь циферблаты и расписания, когда изучаешь венозный мрамор под ногами, вдыхая карболку и тусклый запах, источаемый в холодную зимнюю ночь чугунным локомотивом. Чем я и занялся. Кроме зевающего буфетчика и неподвижной, похожей на Будду, матроны у кассы, не видно было ни души. Толку, впрочем, нам друг от друга было мало: весь запас их языка – слово «espresso» – я уже истратил; я воспользовался им дважды. Еще я купил у них первую пачку того, чему в предстоявшие годы суждено было означать «Merda Statale», «Movimento Sociale» и «Morte Sicura»¹ – первую пачку MS². Так что я подхватил чемоданы и шагнул наружу.

2.

Ночь была ветреной, и прежде чем включилась сетчатка, меня охватило чувство абсолютного счастья: в ноздри ударил его всегдашний – для меня – синоним: запах мерзнущих водорослей. Для одних это свежескошенная трава или сено; для других – рождественская хвоя с мандаринами. Для меня – мерзлые водоросли: отчасти из-за звукоподражательных свойств самого названия, в котором сошлись растительный и подводный мир, отчасти из-за намека на несовместимость и тайную подводную драму содержащегося в понятии. «Где камень темнеет под пеной», как сказал поэт. В некоторых стихиях опознаешь себя; к моменту втягивания этого запаха на ступенях Стасьоне я был уже большим специалистом по несовместимости и тайным драмам. Привязанность к этому запаху следовало, вне всяких сомнений, приписать детству на берегах Балтики, в отечестве странствующей сирены из стихотворения Монтале. У меня, однако, были сомнения. Хотя бы потому, что детство было не столь уж счастливым (и редко бывает, являясь школой беззащитности и отвращения к самому себе, а что до моря, то ускользнуть из моей части Балтики действительно мог только угорь). В любом случае, на предмет ностальгии оно тянуло с трудом. Я всегда знал, что источник этой привязанности где-то не здесь, но вне рамок биографии, вне генетического склада, где-то в мозжечке, среди прочих воспоминаний о наших хордовых предках, на худой конец – о той самой рыбе, из которой возникла наша цивилизация. Была ли рыба счастлива, другой вопрос.

3.

В конце концов, запах есть нарушение кислородного баланса, вторжение в него иных элементов – метана? углерода? серы? азота? В зависимости от объема вторжения получаем привкус – запах – вонь. Это все дело молекул, и, похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии. Тут их, абсолютно свободных, хватало, и я почувствовал, что шагнул в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха.

¹ «Государственное дерьмо», «Общественное движение», «Верная смерть» (ит.).

² Сорт итальянских сигарет.

Весь задник был в темных силуэтах куполов и кровель; мост нависал над черным изгибом водной массы, оба конца которой обрезала бесконечность. Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря, и здесь он был в двадцати метрах. Было очень тихо. Время от времени тускло освещенные моторки проползали в ту или другую сторону, дробя винтами отражение огромного неоновоего Cinzano, пытавшегося снова расположиться на черной клеенке воды. Тишина возвращалась гораздо раньше, чем ему это удавалось.

4.

Все отдавало приездом в провинцию – в какое-нибудь незнакомое, захолустное место – возможно, к себе на родину, после многолетнего отсутствия. Не в последнюю очередь это объяснялось моей анонимностью, неуместностью одинокой фигуры на ступенях Стасьоне: хорошей мишенью забвения. К тому же была зимняя ночь. И я вспомнил первую строчку стихотворения Умберто Сабы, которое когда-то давно, в предыдущем воплощении, переводил на русский: «В глубине Адриатики дикой...». В глубине, думал я, в глуши, в забытом углу дикой Адриатики... Стоило лишь оглянуться, чтобы увидеть Стасьоне во всем ее прямоугольном блеске неона и изысканности, чтобы увидеть печатные буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался. Небо было полно зимних звезд, как часто бывает в провинции. Казалось, в любую минуту вдали мог залаять пес, не исключался и петух. Закрыв глаза, я представил себе пучок холодных водорослей, распластанный на мокром, возможно – обледеневшем камне где-то во вселенной, безразличный к тому – где. Камнем был как бы я, пучком водорослей – моя левая кисть. Затем ниоткуда возникла широкая крытая баржа, помесь консервной банки и бутерброда, и глухо ткнулась в причал Стасьоне. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня к станции. Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе; картина была сказочная.

5.

Впервые я ее увидел несколько лет назад, в том самом предыдущем воплощении: в России. Тогда картина явилась в облике славистки, точнее, специалистки по Маяковскому. Последнее чуть не зачеркнуло картину как объект интереса в глазах моей компании. Что этого не случилось, было мерой ее обозримых достоинств. 180 см, тонкокостная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических очертаниях уст и с ослепительной улыбкой там же, в потрясающей, плотности папиросной бумаги, замше и чулках в тон, гипнотически благоухая незнакомыми духами, – картина была, бесспорно, самым элегантным существом женского пола, сумасводящая нога которого когда-либо ступала в наш круг. Она была сделана из того, что увлажняет сны женатого человека. Кроме того, венецианкой. Так что мы легко переварили ее членство в итальянской компартии и попутную слабость к нашим несмышленным авангардистам тридцатых, списав это на западное легкомыслие. Думаю, будь она яркой нацисткой, мы алкали бы ее не меньше; возможно, даже больше. Она была действительно сногшибательной, и когда в результате спуталась с высокооплачиваемым недоумком армянских кровей на периферии нашего круга, общей реакцией были скорее изумление и гнев, нежели ревность или стиснутые зубы, хотя, в сущности, не стоило гневаться на тонкое кружево, замаранное острым национальным соусом. Мы, однако, гневались. Ибо это было хуже, чем разочарование: это было предательством ткани.

В те дни мы отождествляли стиль с сущностью, красоту с интеллектом. Все-таки мы были публичной книжкой, а в известном возрасте, веря в литературу, предполагаешь, что все разделяют или должны разделять твои вкусы и пристрастия. Поэтому если кто-то хорошо смотрится, то он свой. Незатронутые внешним миром, особенно западным, мы не знали, что стиль продается оптом, что красота бывает просто товаром. Поэтому мы считали картину физическим продолжением и

воплощением наших идеалов и принципов, а всю ее одежду, включая прозрачные вещи, – достоянием цивилизации.

Отождествление это было таким прочным, а картина такой хорошенькой, что даже теперь, годы спустя, вступив в другой возраст и, так сказать, в другую страну, я невольно взял былую манеру. Притиснутый толпой на палубе вапоретто³ к ее шубе изнутри, я первым делом спросил, что она думает о только что вышедших «Мотетах» Монтале. Знакомое сверкание двадцати восьми жемчужин, повторенное на ободке карего зрачка и продленное до рассыпного серебра Млечного Пути, – вот и все, что я получил в ответ, но и это было не мало. Возможно, находясь в самом сердце цивилизации, спрашивать о ее последних достижениях было тавтологией. Возможно, я просто допустил бестактность, поскольку автор не был местным.

6.

Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связанной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в черной как смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ – скорее всего, золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее – циклопическим: я попал в ту бесконечность, которую воображал на ступенях Стаццоне, и теперь двигался мимо ее обитателей, вдоль шеренги спящих циклопов, возлежавших в черной воде, время от времени подымая и опуская веко.

Рядом со мной картина внутри объясняла почти шепотом, что везет меня в отель, где сняла мне номер, что, наверно, мы увидимся завтра или послезавтра, что она хотела бы познакомить меня с мужем и сестрой. Мне нравился ее шепот, хотя он гармонировал скорее с темнотой, чем с самим сообщением, и я ответил таким же заговорщическим голосом, что всегда приятно повидать вероятных родственников. Тут я несколько пережал, но она засмеялась, так же вполголоса, приложив к губам руку в перчатке коричневой кожи. Пассажиры вокруг, брюнеты по преимуществу, обусловив своим количеством нашу близость, не шевелились и если переговаривались, то на тех же пониженных тонах, словно тоже о предметах интимного свойства. Затем небо на мгновение затмила гигантская мраморная скобка моста, и вдруг все залил свет. «Риальто», – сказала она нормальным голосом.

7.

В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, язык, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочна ни была замена последней – палуба – у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыть, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Что ж, может, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, – это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твое восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей – и взаимной – опасностью. Потеря курса есть категория психологии не меньше, чем навигации. Как бы то ни было, в следующие десять минут, хоть мы и двигались в одном направлении, я увидел, что стрелка единственного человеческого существа, которое я знал в этом городе, и моя разошлись самое меньшее на сорок пять градусов. Вероятнее всего потому, что эта часть Канале Гранде лучше освещена.

³ Катер (ит.).

Мы высадились на пристани Академия, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль одноименного, удалившегося от мира пансиона, поцеловали в щеку – скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя – и пожелали спокойной ночи. Затем моя Ариадна удалилась, оставив за собой благовонную нить дорогих (не «Шалимар» ли?) духов, быстро растаявшую в затхлой атмосфере пансиона, пропитанной слабым, но вездесущим запахом мочи. Пару минут я разглядывал мебель. Потом завалился спать.

8.

Таким был мой первый приезд сюда. Ни дурным, ни благим предзнаменованием он не оказался. Если та ночь что и напорочила, то лишь то, что обладателем этого города я не стану никогда; но таких надежд я и не питал. В качестве начала, я думаю, этот эпизод сойдет, правда, в моем знакомстве с единственным человеческим существом, которое я знал в этом городе, он, скорее, означал конец.

В тот раз я видел ее еще дважды или трижды; и действительно был представлен сестре и мужу. Первая оказалась очаровательной женщиной: высокая и стройная, как моя Ариадна, и, может быть, даже ярче, но меланхоличнее и, насколько могу судить, еще замужнее. Второй, чья внешность совершенно выпала у меня из памяти по причине избыточности, был архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты, которая испортила очертания Европы сильнее всякого Люфтваффе. В Венеции он осквернил пару чудесных кампо⁴ своими сооружениями, одним из которых был, естественно, банк, ибо этот разряд животных любит банки с абсолютно нарциссистским пылом, со всей тягой следствия к причине. За одну эту «структуру» (как в те дни выражались) он, по-моему, заслужил рога. Но поскольку, как и его жена, он вроде бы состоял в компартии, то задачу, решил я, лучше всего возложить на товарищей. Разборчивость, с одной стороны; а с другой, когда в один мрачный вечер я позвонил из глубин моего лабиринта единственному человеческому существу, которое знал в этом городе, архитектор, почуяв, видимо, что-то не то в моем ломаном итальянском, оборвал нить связи. Так что дело было за нашими красноармянскими братьями.

9.

Мне говорили, что потом она развелась с архитектором и вышла за пилота американских ВВС, который оказался племянником мэра городка в великом штате Мичиган, где я когда-то жил. Маленький мир, и чем дольше живешь, тем он меньше. Так что ищи я утешенья, я мог бы извлечь его из мысли, что теперь мы топчем одну землю – уже другого материка. Похоже, конечно, на отношение Стация к Вергилию, но это как раз укладывается в привычку таких, как я, видеть в Америке род Чистилища, на что, впрочем, намекает и сам Данте. Единственная с ней разница, что ее небеса обжиты намного лучше моих. Отсюда мои налеты в мой вариант рая, куда она так любезно меня ввела. Во всяком случае, за последние семнадцать лет я возвращался в этот город, или повторялся в нем, с частотой дурного сна.

10.

За двумя или тремя исключениями из-за моих или чьих-то еще сердечных приступов и подобных происшествий, каждое Рождество или накануне я сходил с поезда / самолета / парохода / автобуса и тащил чемоданы, набитые книгами и пишущими машинками, к порогу того или иного отеля, той или иной квартиры. Последнюю, как правило, предоставлял кто-то из немногочисленных друзей, которыми я успел здесь обзавестись вслед за тем, как картина померкла. Позже

⁴ Поле (ит.), площадь.

я попробую объяснить выбор сроков (хотя такое намерение тавтологично вплоть до перехода в собственную противоположность). Сейчас же замечу только, что хоть я и северянин, мое представление о рае не определяется ни климатом, ни температурой. Я бы, кстати, охотно обошелся и без его жителей, и без вечности в придачу. Рискаю навлечь обвинения в безнравственности, признаюсь, что это представление чисто зрительное, идущее скорее от Клода, чем от кредо, и существующее только в приближениях. Лучшее из которых – этот город. Поскольку я не уполномочен выяснять, как дело выглядит с другой стороны, то могу этим городом и ограничиться. Говорю это сразу, чтобы избавить читателя от разочарований. Я не праведник (хотя стараюсь не выводить совесть из равновесия) и не мудрец; не эстет и не философ. Я просто нервный, в силу обстоятельств и собственных поступков, но наблюдательный человек. Как сказал однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Поэтому нижеследующее связано скорее с глазом, чем с убеждениями, включая и те, которые касаются композиции рассказа. Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого. Не испугавшись обвинений в безнравственности, я легко снесу упреки в поверхностности. Поверхность – то есть первое, что замечает глаз, – часто красноречивее своего содержимого, которое временно по определению, не считая, разумеется, загробной жизни. Изучая лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, сумею сделать правдоподобную пуссеновскую вещь: нарисовать портрет этого места если и не в четыре времени года, то в четыре времени зимнего дня. Такова моя цель. Если я отклонюсь, то здесь это прием, буквально заезженный гондолами и вторящий воде. Иными словами, предстоящее может оказаться не рассказом, а разливом мутной воды «не в то время года». Иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непитьевая. Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в том числе и мое.

11.

Безжизненные по природе, гостиничные зеркала потускнели еще сильнее, повидав столь многих. Они возвращают тебе не тебя самого, а твою анонимность, особенно в этом городе. Ибо здесь ты сам – последнее, что хочется видеть. В первые приезды сюда я часто удивлялся, застав мою собственную фигуру, одетую или голую, в двери открытого гардероба; немного спустя я задумался над райским или загробным воздействием этого места на самосознание человека. Одно время я даже развивал теорию чрезмерной избыточности: теорию зеркала, поглощающего тело, поглощающего город. В результате, естественно, получаем взаимное отрицание. Отражению нет никакого дела до отражения. Город достаточно нарциссичен, чтобы превратить твой рассудок в амальгаму и облегчить его, избавив от значений. Сходно влияя на кошелек, отели и пансионаты здесь выглядят очень уместно. После двухнедельного пребывания – даже по ценам несезона – ты, как буддийский монах или христианский святой, избавлен и от денег и от себя. В определенном возрасте и при определенных занятиях последнее всегда кстати, если не сказать обязательно.

Теперь обо всем этом, конечно, и речи нет, поскольку здешние умники закрывают на зиму две трети таких местечек; а оставшаяся треть круглый год поддерживает летние цены, от которых бросает в дрожь. Если повезет, можно отыскать квартиру, которая, естественно, сдается вместе с личными вкусами хозяина по части картин, стульев, занавесок и с легким оттенком нелегальности на лице, которое видишь в зеркале над умывальником. Иначе говоря, именно с тем, от чего ты хотел избавиться: с самим собой. Все же зима абстрактное время года: бедное красками, даже в Италии, и щедрое на императивы холода и короткого светового дня. Эти вещи настраивают глаз на внешний мир с энергией большей, чем у электрической лампочки, которая снабжает тебя по вечерам чертами лица. Если это время года и не всегда умирляет нервы, оно все-таки подчиняет их инстинктам: красота при низких температурах – настоящая красота.

12.

В любом случае, летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета. Я плохо переношу жару; выбросы моторов и подмышек – еще хуже. Стада в шортах, особенно ржущие по-немецки, тоже действуют на нервы из-за неполноценности их анатомии по сравнению с колоннами, пилястрами и статуями, из-за того, что их подвижность и все, в чем она выражается, противопоставляют мраморной статике. Я, похоже, из тех, кто предпочитает текучести выбор, а камень – всегда выбор. Независимо от достоинств телосложения, в этом городе, на мой взгляд, тело стоит прикрывать одеждой – хотя бы потому, что оно движется. Возможно, одежда есть единственное доступное нам приближение к выбору, сделанному мрамором.

Взгляд, видимо, крайний, но я северянин. В абстрактное время года жизнь даже на Адриатике кажется реальнее, чем в любое другое, так как зимой все тверже, жестче. Если угодно, считайте это пропагандой в пользу венецианских лавок, чьи дела идут оживленнее при низких температурах. Отчасти потому, что зимою нужно больше одежды, чтобы согреться, не говоря уже об атавистической тяге к смене меха. Правда, ни один турист не явится сюда без лишнего свитера, жилета, рубашки, штанов, блузки, поскольку Венеция из тех городов, где и чужак и местный заранее знают, что они экспонаты.

Из чего вытекает, что в Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя наряды по причинам не вполне практическим; их подначивает сам город. Все мы таим всевозможные тревоги относительно изъянов нашей внешности и несовершенства наших черт. Все, что в этом городе видишь на каждом шагу, повороте, в перспективе и тупике, усугубляет твою озабоченность и комплексы. Вот почему люди, только попав сюда – в первую очередь женщины, но мужчины тоже, – оголтело атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает позвериному смутное желание не отставать, держаться на уровне. Это не имеет ничего общего с тщеславием или с естественным здесь избытком зеркал, из которых главное – сама вода. Дело просто в том, что город дает двуногим представление о внешнем превосходстве, которого нет в их природных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь нарасхват меха, наравне с замшей, шелком, льном, хлопком, любой тканью. Дома человек растерянно глядит на покупки, прекрасно понимая, что в родных местах щеголять ими негде, не рискуя шокировать сограждан. Приходится им увядать в гардеробе или переходить к родным помоложе. Я, скажем, помню, как купил здесь несколько вещей – само собой, в кредит, – которые потом надеть не было ни духа, ни охоты. В том числе два плаща, один горчичный, другой светлого хаки. Теперь они украшают плечи лучшего танцовщика мира и лучшего поэта английского языка, хоть и ростом и возрастом оба от меня отличаются. Это все – действие здешних видов и перспектив, ибо в этом городе человек – скорее силуэт, чем набор неповторимых черт, а силуэт поддается исправлению. Толкают к щегольству и мраморные кружева, мозаики, капители, карнизы, рельефы, лепнина, обитаемые и необитаемые ниши, статуи святые и снятые, девы, ангелы, херувимы, кариатиды, фронтоны, балконы, оголенные икры балконных балясин, сами окна, готические и мавританские. Ибо это город для глаз; остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку. Одного того, как оттенки и ритм местных фасадов заискивают перед изменчивой мастью и узором волн, хватит, чтобы ринуться за модным шарфом, галстуком и чем угодно; чтобы даже холостяка-ветерана приклеить к витрине с броскими нарядами, не говоря уже о лакированных и замшевых туфлях, раскиданных, точно лодки всех видов по Лагуне. Ваш глаз как-то догадывается, что все эти вещи выкроены из той же ткани, что и виды снаружи, и не обращает внимания на свидетельство ярлыков. И в конечном счете глаз не так уж неправ, хотя бы потому, что здесь у всего общая цель – быть замеченным. А в счете самом окончательном, этот город есть настоящий триумф хордовых, поскольку глаза, наш единственный сырой, рыбоподобный орган, здесь в самом деле купаются: они мечутся, разбегаются, закатываются, шныряют. Их голый студень с атависти-

ческой негой покоится на отраженных палаццо, «шпильках», гондолах и т. д., опознавая самих себя в стихии, вынесшей отражения на поверхность бытия.

13.

Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро, – ты понимаешь, что не все кончено. Неважно и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе, – тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере – будущее. (Надежда, сказал Фрэнсис Бэкон, хороший завтрак, но плохой ужин.) Источник этого оптимизма – дымка; ее молитвенная часть, особенно если время завтрака. В такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен звенят, как забытые ложки, и тают в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгущающихся, то тающих в воздухе. При всей пригодности этого места для медовых месяцев, я часто думал, не испробовать ли его и для разводов – как для тянущихся, так и для завершенных? На этом фоне меркнет любой разрыв; никакой эгоист, прав он или неправ, не сумеет долго блистать в этих фарфоровых декорациях у хрустальной воды, ибо они затмят чью угодно игру. Я знаю, что вышепредложенное может весьма неприятно отразиться на ценах, даже зимой. Но люди любят свои мелодрамы больше, чем архитектуру, и беспокоиться мне не о чем. Странно, что красота ценится ниже психологии, но пока это так, этот город мне по карману – то есть до самой смерти, возможно, и после.

14.

По профессии, или, скорее, по кумулятивному эффекту многолетних занятий, я писатель; по способу зарабатывать – преподаватель, учитель. Зимние каникулы в моем университете – пять недель, что отчасти объясняет сроки моих паломничеств – но лишь отчасти. У рая и каникул то общее, что за них надо платить и монетой служит твоя прежняя жизнь. Мой роман с этим городом – с этим городом именно в это время года – начался давно, задолго до того, как я обзавелся умениями, имеющими спрос, и смог позволить себе эту страсть.

Примерно в 1966 году – мне было тогда 26 – один друг дал мне почитать три коротких романа французского писателя Анри де Ренье, переведенные на русский замечательным русским поэтом Михаилом Кузминым. В тот момент я знал о Ренье только, что он один из последних парнасцев, поэт неплохой, но ничего особенного. О Кузмине – кое-что из «Александрийских песен» и «Глиняных голубок» и славу великого эстета, рьяного православного и откровенного гомосексуалиста – по-моему, в таком порядке.

Мне достались эти романы, когда автор и переводчик были давно мертвы. Книжки тоже дышали на ладан: бумажные издания конца тридцатых, практически без переплетов, рассыпались в руках. Не помню ни заглавий, ни издательства; сюжетов, честно говоря, тоже. Почему-то осталось впечатление, что один назывался «Провинциальных забавы», но не уверен. Конечно, можно бы уточнить, но одолживший их друг умер год назад; и я проверить не буду.

Они были помесью плутовского и детективного романа, и действие, по крайней мере одного, который я про себя зову «Провинциальные забавы», проходило в зимней Венеции. Атмосфера сумеречная и тревожная, топография, осложненная зеркалами; главные события имели место по ту сторону амальгамы, в каком-то заброшенном палаццо. Подобно многим книгам двадцатых, роман был довольно короткий – страниц 200, не больше – и в бодром темпе. Тема обыч-

ная: любовь и измена. Самое главное: книга была написана короткими – длиной в страницу или полторы – главами. Их темп отдавал сырыми, холодными, узкими улицами, по которым вечером спешишь с нарастающей тревогой, сворачивая налево, направо. Человек, родившийся там, где я, легко узнавал в городе, возникавшем на этих страницах, Петербург, продленный в места с лучшей историей, не говоря уже о широте. Но важнее всего в том впечатлительном возрасте, когда я наткнулся на роман, был преподанный им решающий урок композиции, то есть: качество рассказа зависит не от сюжета, а от того, что за чем идет. Я бессознательно связал этот принцип с Венецией. Если читатель теперь мучается, причина в этом.

15.

Потом другой друг, еще здравствующий, принес растрепанный номер журнала «Лайф» с потрясающим цветным снимком Сан-Марко в снегу. Немного спустя девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения набор открыток с рисунками сепией, сложенный гармошкой, который ее бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции, и я корпел над ними с лупой. Потом моя мать достала бог знает откуда квадратик дешевого гобелена, просто лоскут с вышитым Palazzo Ducale, прикрывший валик на моем диване – сократив тем самым историю Республики до моих габаритов. Запишите сюда же маленькую медную гондолу, которую отец купил в Китае во время службы и которую родители держали на трюмо, заполняя разрозненными пуговицами, иголками, марками и – по нарастающей – таблетками и ампулами. Потом друг, давший романы Ренье и умерший год назад, взял меня на полуофициальный просмотр контрабандной и потому черно-белой копии «Смерти в Венеции» Висконти с Дирком Богартом. Увы, фильм оказался не первый сорт, да и от самой новеллы я был не в восторге. И все равно, долгий начальный эпизод с Богартом в пароходном шезлонге заставил меня забыть о мешающих титрах и пожалеть, что у меня нет смертельной болезни; даже сегодня я могу пожалеть об этом.

Потом возникла венецианка. Стало казаться, что город понемногу вползает в фокус. Он был черно-белым, как и пристало выходцу из литературы или зимы; аристократический, темноватый, холодный, плохо освещенный, где слышен струнный гул Вивальди и Керубини на заднем плане, где вместо облаков женская плоть в драпировках от Беллини / Тьеполо / Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин.

16.

Мечта, конечно, абсолютно декадентская, но в 28 лет человек с мозгами всегда немножко декадент. Кроме того, план не был выполнен ни в одной своей части. Так что когда тридцати двух лет от роду я оказался в недрах другого континента, посреди Америки, то первую университетскую полчку истратил на осуществление лучшей части моей мечты и купил билет туда-обратно Детройт – Милан – Детройт. Самолет был забит итальянцами с заводов Форда и Крайслера, едущими домой на Рождество. Когда посередине пути в хвосте открыли бесполошленную торговлю, они ринулись туда, и на секунду мне представился наш самолетик, летящий над Атлантикой словно распятие: раскинув крылья, хвостом вниз. Потом поездка на поезде и в конце ее – единственный человек, которого я знал в этом городе. Конец был холодным, сырым, черно-белым. «Земля же была безвидна и пуста; и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою», цитируя бывавшего здесь раньше автора. И было следующее утро. Воскресное утро, и все колокола звонили.

17.

Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и – раз я с Севера – к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской пронизательностью, а с нежностью и благодарностью.

Вот путь, а в ту пору и суть, моего взгляда на этот город. В этой фантазии нет ничего от Фрейда или от хордовых, хотя, безусловно, можно установить какую-то эволюционную – если не просто атавистическую – связь между рисунком от волны на песке и пристальным на него взглядом потомка ихтиозавров, который и сам чудовище. Поставленное стоймя кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на земной тверди оставило время-оно же-вода. Плюс, есть несомненное соответствие – если не прямая связь – между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть местных зданий, и анархией воды, которая плюет на понятие формы. Словно здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознает свою неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным свойством, которого у времени нет: красотой. И вот почему вода принимает этот ответ, его скручивает, мочалит, кромсает, но в итоге уносит в Адриатику, в общем, не повредив.

18.

Глаз в этом городе обретает самостоятельность, присущую слезе. С единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе подчиняет. Немного времени – три-четыре дня, – и тело уже считает себя только транспортным средством глаза, некоей субмариной для его то распахнутого, то сощуренного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой по своим: на дно уходит твое сердце или же ум; глаз выныривает на поверхность. Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких, вьющихся, как угорь, приводящих тебя к камбале площади с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь *cul de sac*⁵. На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцепленные клешни омара (Пастернак сравнил его с размокшей баранкой); но у него нет севера, юга, востока, запада; единственное его направление – вбок. Он окружает тебя как мерзлые водоросли, и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадежнее их теряешь. И желтые стрелки на перекрестках мало помогают, ибо они тоже изогнуты. В сущности, они играют роль не проводника, а водяного. И в юрких взмахх руки туземца, у которого ты спросил дорогу, глаз, отвлекаясь от треска «*A destra, a sinistra, dritto, dritto*»⁶, легко узнает рыбу.

19.

Запутавшаяся в водорослях сеть – более точное сравнение. Из-за нехватки пространства люди здесь существуют в клеточной близости друг к другу, и жизнь развивается по имманентной

⁵ Тупик (фр.).

⁶ «Направо, налево, прямо, прямо» (ит.).

логике сплетни. Территориальный императив человека в этом городе ограничен водой; ставни преграждают путь не столько солнцу или шуму (минимальному здесь), сколько тому, что могло бы просочиться изнутри. Открытые, они напоминают крылья ангелов, подглядывающих за чьими-то делишками, и как статуи, теснящиеся на карнизах, так и человеческие отношения здесь приобретают ювелирный или, точнее, филигранный оттенок. В этих местах человек и более скрытен, и лучше осведомлен, чем полиция при тирании. Едва выйдя за порог квартиры, особенно зимой, ты сразу делаешься добычей всевозможных подозрений, фантазий, слухов. Если ты был не один, то назавтра в бакалее или у газетчика тебя встретит взгляд ветхозаветной глубины, которая кажется непостижимой в католической стране. Если подал здесь на кого-то в суд или наоборот, адвоката нужно нанять со стороны. Приедем, разумеется, все это по душе, местным нет. Горожанина не забавляет то, что зарисовывает художник или снимает любитель. Но все-таки кривотолки как принцип городской планировки (которая здесь становится членораздельной только задним числом) лучше любой современной решетки и в ладу с местными каналами, взявшими за образец воду, которая, как пересуды за спиной, никогда не кончается. В этом смысле кирпич убедительнее мрамора, хотя оба неприступны для чужака. Правда, раз или два за эти семнадцать лет я сумел втереться в венецианское святая святых, в лабиринт за амальгамой, описанный де Ренье в «Провинциальных забавах». Это произошло таким окольным путем, что теперь мне даже не вспомнить деталей, ибо я не мог уследить за всеми ходами и изгибами, приведшими тогда к моему в этот лабиринт попаданию. Кто-то что-то кому-то сказал, а еще один человек, случайно там оказавшийся, услышал и позвонил четвертому, в результате чего однажды вечером энный человек пригласил меня на прием в свое палаццо.

20.

Палаццо досталось энному совсем недавно, после почти трехвековых юридических битв, которые вели несколько ветвей семьи, подарившей миру пару венецианских адмиралов. Соответственно, два огромных с великолепной резьбой кормовых фонаря брезжили в гроте высотой в два этажа – во дворе палаццо, заполненном всяческими флотскими штуками, от Возрождения до наших дней. Сам энный был последним в своей линии и получил палаццо после многих лет ожидания и к великому огорчению остальных членов семейства. К флоту он отношения не имел: немного драматург, немного художник. Правда, в тот момент заметнее всего в этом сорокалетнем, худом, невысоком человеке в сером двубортном костюме очень хорошего покроя было то, что он серьезно болен. Желтизна кожи указывала на перенесенный гепатит – или, может быть, на простую язву. Он ел только консоме и вареные овощи, пока его гости объедались тем, что имеет право на отдельную главу, если не книгу.

Итак, собравшиеся отмечали вступление энного в права, равно как и открытие издательства для выпуска книг о венецианском искусстве. Когда мы трое: коллега-писательница, ее сын и я – прибыли, прием был в самом разгаре. Народу была масса: местные и слегка международные светила, политиканы, знать, завсегдатаи кулис, бородки и шарфики, любовницы разной степени яркости, велосипедная звезда, американские академики. Плюс компания хихикающих, резвых, гомосексуальных молодцов, неизбежных в те дни всюду, где имело место что-то мало-мальски приличное. Во главе компании стоял довольно безумный и злобный петух средних лет – очень белокурый, очень голубоглазый, очень пьяный мажордом этого здания, чьи дни здесь были сочтены и который поэтому всех ненавидел. И правильно делал, добавлю я, ввиду его перспектив. Они слишком галдели, и энный вежливо предложил нам троим осмотреть остальную часть дома. Мы охотно согласились и поднялись на маленьком лифте. Покинув его кабину, мы покинули двадцатый, девятнадцатый и большую долю восемнадцатого века.

Мы оказались на длинной, плохо освещенной галерее со сводчатым потолком, кишашим путти. Свет все равно бы не помог, поскольку стены были закрыты большими, от пола до потолка, темно-коричневыми картинами, которые, очевидно, были написаны на заказ для этого помещения и перемежались едва различимыми мраморными бюстами и пилястрами. Картины изображали, насколько можно было разобрать, морские и сухопутные сражения, праздничные шествия, мифологические сцены; самой светлой краской была винно-красная. Это были копи тяжелого порфира, заброшенные, во власти вечного вечера, где за холстами таились рудные пласты; безмолвие здесь царило истинно геологическое. Нельзя было спросить «Что это? Чья работа?» из-за неуместности твоего голоса, принадлежащего более позднему и явно постороннему организму. Еще это было похоже на подводное путешествие, словно мы составляли косяк рыб, проходящий сквозь затонувший галеон с сокровищем на борту, – рта не раскрыть, не то наглотаешься воды. На дальнем конце галереи наш хозяин порхнул вправо, и мы прошли за ним в комнату, в нечто среднее между библиотекой и кабинетом джентльмена семнадцатого века. Судя по книгам за проволочной сеткой в красном, размером с гардероб, шкафу, век мог быть даже и шестнадцатым. Там было около шестидесяти пухлых белых томов, переплетенных в свиную кожу, от Эзопа до Зенона, сколько и нужно джентльмену – чуть больше, и он превратился бы в мыслителя, с плачевными последствиями для его манер или состояния. В остальном комната была довольно голой. Свет в ней был не многим лучше, чем в галерее; я различил стол и большой выцветший глобус. Затем хозяин повернул ручку, и я увидел его силуэт в дверном проеме, ведущем в анфиладу. Я заглянул в нее и вздрогнул: анфилада казалась вязкой и дурной бесконечностью. Затем я ступил в нее.

Это была длинная череда пустых комнат. Рассудком я понимал, что длиннее параллельной ей галереи она быть не может. Тем не менее, была. У меня возникло чувство, что я перемещаюсь не столько в обычной перспективе, сколько по горизонтальной спирали, где приостановлено действие оптических законов. Каждая комната знаменовала твое дальнейшее убывание, следующую степень твоего небытия. Дело было в трех вещах: драпировках, зеркалах, пыли. Хотя иногда угадывалось назначение комнаты – столовая, салон, возможно, детская, – в общем их роднило отсутствие понятной функции. Они были примерно одного размера или, по крайней мере, не сильно в этом отличались. И во всех окна были зашторены и два-три зеркала украшали стены. Каким бы ни был первоначальный цвет и узор портьер, теперь они стали бледно-желтыми и очень ветхими. Прикосновение пальца, не говоря о бризе, означало бы их настоящую гибель, что следовало из обрывков ткани, устилавших паркет. Они лысели, эти занавеси, и на некоторых складках виднелись широкие вытертые проплешины, словно ткань ощущала, что круг ее бытия замкнулся, и возвращалась в свое дотканное состояние. Наверно, и наше дыхание было слишком фамильярным, но всё лучше свежего кислорода, в котором, как и история, ткань не нуждалась. Речь шла не о тлении, не о распаде, но о растворении в прошедшем времени, где твой цвет и расположение нитей не имеют значения, где, узнав, что с ними может случиться, они перестроятся и вернуться, сюда или куда-то еще, в ином обличьи. «Простите, – словно говорили они, – в следующий раз мы будем прочнее».

Потом эти зеркала, два или три на комнату, разных размеров, но чаще всего прямоугольные. Все в изящных золотых рамах, с искусными гирляндами или идиллическими сценками, привлекавшими к себе больше внимания, чем сама зеркальная поверхность, поскольку состояние амальгамы было неизменно плохим. В каком-то смысле, рамы были логичней своего содержимого, которое они удерживали, словно не давая расплескаться по стенам. В течение веков отвыкнув отражать что-либо кроме стены напротив, зеркала отказывались вернуть тебе твое лицо, то ли из жадности, то ли из бессилия, а когда пытались, то твои черты возвращались не полностью. Я, кажется, начал понимать де Ренье. От комнаты к комнате, пока мы шли по анфиладе, я видел в этих рамах все меньше и меньше себя, все больше и больше темноты. Постепенное вычитание,

подумал я; чем-то оно кончится? И оно кончилось в десятой или одиннадцатой комнате. Я стоял у двери в следующую комнату и вместо себя видел в приличном – метр на метр – прямоугольнике черное, как смоль, ничто. Глубокое и зовущее, оно словно вмещало собственную перспективу – другую анфиладу, быть может. На секунду закружилась голова; но, не будучи романистом, я не воспользовался возможностью и предпочел дверь.

Всю дорогу хватало призрачности; тут ее стало через край. Хозяин и мои спутники где-то отстали; я был предоставлен самому себе. Повсюду лежала пыль; цвета и формы всего окружающего смягчались ее серостью. Инкрустированные мраморные столы, фарфоровые статуэтки, кушетки, стулья, сам паркет. Ею было припудрено все, иногда, как в случае бюстов и статуэток, с неожиданно благотворным эффектом: подчеркивались рты, глаза, складки, живость группы. Но обычно ее слой был толстым и густым; более того, окончательным, будто новой пыли уже не было места. Жаждет пыли всякая поверхность, ибо пыль есть плоть времени, времени плоть и кровь, как сказал поэт; но здесь эта жажда прошла. Теперь пыль проникнет в сами предметы, подумал я, сольется с ними и в конце концов их заменит. Это, разумеется, зависит и от материала; попадаются довольно прочные. Предметам не обязательно разрушаться: они просто посереют, раз время не прочь принять их форму, как оно это уже сделало в веренице пустых комнат, где оно настигало материю.

Последней была спальня хозяина. Там царил гигантская, но незастеленная кровать с пологом: реванш адмирала за узкую койку на корабле или, возможно, знак уважения к самому морю. Второе вероятней, учитывая чудовищное бетонное облако путти, нависшее над кроватью и игравшее роль балдахина. Вообще-то, это была скорее лепнина, чем путти. Лица херувимов выглядели до ужаса гротескно: все они, пристально глядя на кровать, улыбались порочной, развратной улыбкой. Они напомнили мне о смешливом молодняке внизу; и тут я заметил переносной телевизор в углу этой вообще-то абсолютно пустой комнаты. Я вообразил, как мажордом забавляет здесь избранника; судорожный остров нагой плоти в море белья, под изучающими взорами пыльного гипсового шедевра. Как ни странно, вообразил без брезгливости. Напротив, мне показалось, что с точки зрения времени как раз здесь такие забавы уместны, ибо не приносят плода. В конце концов, три века здесь не было полновластного хозяина. Войны, революции, великие открытия, гении, эпидемии не имели сюда доступа из-за юридических препятствий. Действие причинности прекратилось, поскольку ее носители в человеческом облике шагали по этой перспективе только в качестве зрителей, раз в несколько лет в лучшем случае. Так что корчащийся островок в простынном море, в сущности, соответствовал окружающей недвижности, поскольку и она никогда в жизни не смогла бы ничего породить. К счастью, остров – или правильней будет: вулкан? – мажордома существовал только в глазах путти. На глади зеркала его не было. Как и меня.

21.

Случилось это лишь однажды, хотя мне говорили, что таких мест в Венеции десятки. Но одного раза достаточно, особенно зимой, когда местный туман, знаменитая *Nebbia*, превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирая не только отражения, но и все имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи. Пароходное сообщение прервано, самолеты неделями не садятся, не взлетают, магазины не работают, почта не приходит. Словно чья-то грубая рука вывернула все эти анфилады наизнанку и окутала город подкладкой. Лево, право, верх, низ тасуются, и не заблудиться ты можешь только будучи здешним или имея чичероне. Туман густой, слепой, неподвижный. Последнее, впрочем, выгодно при коротких вылазках, скажем, за сигаретами, поскольку можно найти обратную дорогу по тоннелю, прорытому твоим телом в тумане; тоннель этот остается открыт в течение получаса.

Наступает пора читать, весь день жечь электричество, не слишком налегать на самоуничижительные мысли и кофе, слушать зарубежную службу Би-Би-Си, рано ложиться спать. Короче, это пора, когда забываешь о себе, по примеру города, утратившего зримость. Ты бессознательно следуешь его подсказке, тем более если, как и он, ты один. Не сумев здесь родиться, можешь, по крайней мере, гордиться тем, что разделяешь его невидимость.

22.

Меня, впрочем, содержимое кирпичных банальностей этого города всегда интересовало не меньше – если не больше, – чем мраморные раритеты. Предпочтение это не связано ни с популизмом, ни с нелюбовью к аристократии, ни с привычками романиста. Это просто эхо тех домов, где я жил и работал большую часть жизни. Не сумев здесь родиться, я не сумел, видимо, и еще чего-то, когда выбрал занятие, редко имеющее конечным пунктом бельэтаж. С другой стороны, есть, наверно, какой-то извращенный снобизм в привязанности к здешнему кирпичу, к его красным, воспаленным мышцам в струпьях слезающей штукатурки. Как яйца нередко, особенно пока готовишь завтрак, наводят на мысль о неизвестной цивилизации, дошедшей до идеи производства пищевых консервов органическим способом, так и кирпичная кладка напоминает об альтернативном устройстве плоти, не освеженной, конечно, но алой, составленной из мелких, одинаковых клеток. Стена или дымоход как еще один автопортрет вида на элементарном уровне. В конце концов, как и Сам Всемогущий, мы делаем все по своему образу, за неимением более подходящего образца, и наши изделия говорят о нас больше, чем наши исповеди.

23.

Как бы то ни было, порог в квартирах венецианцев я переступал редко. Клань не любят чужаков, а венецианцы – народ весьма клановый, к тому же островитяне. Отпугивал и мой итальянский, бестолково скачущий около устойчивого нуля. За месяц или около того он всегда улучшался, но тут я садился в самолет, еще на один год уносивший меня от возможности этот улучшенный язык применить. Поэтому общался я с англоговорящими туземцами и американскими эмигрантами, в чьих домах встречал знакомый вариант – если не уровень – изобилия. Что касается говоривших по-русски типов из местного университета, то меня тошнило от их отношения к моей родной стране и от их политических взглядов. Примерно так же действовали на меня и два-три местных писателя и профессора: слишком много абстрактных литографий по стенам, аккуратных книжных полок и африканских безделушек, молчащих жен, бледных дочерей, разговоров, вяло текущих от последних новостей, чужой славы, психотерапии, сюрреализма к объяснениям, как мне быстрее добраться до отеля. Разнородность стремлений сводится на нет тавтологичностью конечного результата. Я мечтал тратить дни в пустой конторе какого-нибудь здешнего поверенного или аптекаря, глаза на секретаршу, вносящую кофе из бара поблизости, болтая о ценах на моторки или о положительных чертах Диоклетиана, поскольку здесь у всех сносное образование (или мне так представлялось). Я был бы не в силах подняться со стула, клиентов было бы мало; наконец, он запер бы помещение и мы бы отправились к «Гритти» или «Даниели», где я бы заказал выпивку; если бы мне повезло, к нам бы присоединилась секретарша. Мы бы устроились в глубоких креслах, злословя о новых немецких отрядах или вездесущих японцах, которые, кося объективами, возбужденно подглядывают, словно новые старцы, за бледными голыми мраморными бедрами Венеции-Сусанны⁷, переходящей вброд холодные, крашенные закатом, плещущие воды. Потом он, может, позвал бы к себе поужинать, и его беременная жена, возвышаясь над дымящимися макаронами, отчитывала бы меня за затянувшееся холостячество... Видимо,

⁷ История о Сусанне и старцах (Книга Даниила, гл. 13) была частым сюжетом для живописцев эпохи Возрождения.

перебрал, смотря неореалистов и читая Звево⁸. Для реализации подобных фантазий требуется то же, что для вселения в бельэтаж. Я этим требованиям не удовлетворяю; и никогда не задерживался здесь настолько, чтобы с этими фантазиями расстаться окончательно. Чтобы начать другую жизнь, человек обязан разделаться с предыдущей, причем аккуратно. Никому не удастся достичь убедительного результата, но иногда хорошую службу способна сослужить супруга в бегах или политическая система. О чужих домах, о незнакомых лестницах, странных запахах, непривычной обстановке и топографии – вот о чем грезят старые собаки из пословицы, слабоумные и одряхлевшие, а не о новых хозяевах. И фокус в том, чтобы их не тревожить.

24.

Поэтому я ни разу не выспался, тем более не согрешил в чугунной фамильной кровати с девственным, хрустящим бельем, с покрывалом, отделанным вышивкой и бахромой, с облачными подушками в изголовье, над которым висит маленькое распятие, инкрустированное перламутром. Я никогда не наводил праздного взгляда на олеографию Мадонны, ни на выцветшие портреты отца/брата/дяди/сына в берсальерском шлеме с черными перьями, ни на ситец занавесок, ни на фарфор или майолику кувшина, стоящего на темном комоде, набитом местными кружевами, простынями, полотенцами, наволочками, бельем, которые выстирала и выгладила на кухонном столе молодая, сильная, загорелая, почти смуглая рука, в то время как лямка сползала с плеча и серебряный бисер пота блестел на лбу. (Что до серебра, то оно, по всей вероятности, засунуто под стопку простынь в одном из ящичков.) Все это, разумеется, из кино, где я не был ни звездой, ни статистом, из кино, которое, насколько я понимаю, уже не будут снимать, а если будут, то с другим реквизитом. У меня в уме фильм называется «Венецианская семья» и обходится без сюжета, кроме сцены со мной, идущим по Фондамента Нуове с лучшими в мире красками, разведенными на воде, по левую руку и кирпичным раем по правую. На мне должна быть кепка, темный пиджак и белая рубашка с открытым воротом, выстиранная и выглаженная той же сильной загорелой рукой. У Арсенала я бы взял направо, перешел двенадцать мостов и по виа Гарибальди пошел бы к Жардиньо, где на железном стуле в кафе «Парадизо» сидела бы гладившая и стиравшая эту рубашку шесть лет назад. Рядом с ней стоял бы стакан чинного, лежали булочка, потрепанный «Моноблос»⁹ Проперция или «Капитанская дочка»; на ней было бы платье из тафты до колен, купленное как-то в Риме перед нашей поездкой на Искию. Она подняла бы глаза горчично-медового цвета, остановила взгляд на фигуре в плотном пиджаке и сказала: «Ну и пузо!» Если что и спасет эту картину от фиаско, то только зимнее освещение.

25.

Не так давно я видел фотографию военной казни. Три бледных, тощих человека среднего роста с непримечательными лицами (камера снимала их в профиль) стояли у свежевырытой ямы. У них была внешность северян – снимали, по-моему, в Литве. За каждым стоял немецкий солдат, приставив пистолет к затылку. Невдалеке виднелась группа солдат – зрителей. Дело происходило в начале зимы или поздней осенью, судя по шинелям. Осужденные, все трое, тоже были одеты одинаково: кепки, плотные черные пиджаки поверх белых рубашек. Кроме всего прочего, им было холодно. Поэтому они втянули головы. И еще потому, что им предстояло умереть: фотограф нажал на кнопку за миг до того, как солдаты – на крючок. Трое деревенских парней втянули головы в плечи и сощурились, как ребенок в ожидании боли. Они ждали, что будет больно, может, ужасно больно, они ждали оглушительного – так близко к ушам! – звука выстрела. И они

⁸ Итало Звево (1861-1928) – итальянский писатель.

⁹ «Моноблос» (греч.; букв. «Однокнижие») – традиционное наименование первой книги элегий Секста Проперция (ок. 50 – ок. 15 г. до н. э.).

зажмурились. Ведь репертуар человеческих реакций так ограничен! К ним шла смерть, а не боль; но их тела отказывались различать.

26.

Однажды днем в ноябре 1977 года в гостиницу «Лондон», где я остановился благодаря любезности «Выставки несогласных», мне позвонила Сюзанна Зонтаг, остановившаяся в «Гритти», по той же причине. «Иосиф, – сказала она, – я тут на площади наткнулась на Ольгу Радж. Ты ее знаешь?» – «Нет. Ты хочешь сказать – подруга Паунда?» – «Да, – ответила Сюзанна, – и она позвала меня вечером. Я боюсь идти одна. Не сходишь со мной, если нет других планов?» Их не было, и я сказал, что, конечно, схожу, слишком хорошо понимая ее опасения. Мои, я думал, были бы даже сильнее. Начать с того, что в моей области Эзра Паунд важная шишка, практически целый институт. Масса американских графоманов нашли в Эзре Паунде и учителя и мученика. В молодости я довольно много переводил его на русский. Переводы вышли дрянь, но чуть не были напечатаны, заботами какого-то нациста в душе, работавшего в редакции солидного журнала (теперь он, конечно, ярый националист). Оригинал мне нравился за нахальную свежесть, за подтянутый стих, за стилистическое и тематическое разнообразие, за размах культурных ассоциаций, в ту пору мне недоступный. Еще мне нравился его принцип «это нужно обновить» – то есть нравился, пока до меня не дошло, что настоящая причина «обновления» в том, что «это» вполне устарело; что, в конечном счете, мы находимся в ремонтной мастерской. Что касается его невзгод в лечебнице Св. Елизаветы, то, на русский взгляд, выходить из себя тут было не из-за чего и во всяком случае это было лучше девяти граммов свинца, которые бы он заработал в другом месте за свой радиотреп в войну. «Кантос» тоже не произвели особого впечатления: главная ошибка была старая – «поиски красоты». Для человека со столь давней итальянской пропиской странно не понимать, что целью красота быть не может, что она всегда побочный продукт иных, часто весьма заурядных поисков. Стоило бы, по-моему, издать его стихи и речи в одном томе, без всяких ученых предисловий, и посмотреть, что получится. Поэт первый обязан помнить, что время не знает о расстоянии между Рапалло и Литвой. Еще я думал, что достойней признать, что испохабил свою жизнь, чем коченеть в позе гонимого гения, который, повскидывая руку в фашистском салюте, потом отрицает, что этот жест что-то значил, дает уклончивые интервью и надеется плащом и посохом придать себе облик мудреца, в итоге приобретая сходство с Хайле Селассие. Он все еще котировался у некоторых моих друзей, и теперь меня ждала встреча с его старухой.

Адрес был деи Салюте Сестьере, часть города с самым большим, по моим сведениям, процентом иностранцев, особенно Anglos. Немного поплутав, мы нашли нужное место – не так далеко, в сущности, от дома, где в десятые годы жил де Ренье. Мы позвонили в дверь, и первое, что я увидел за спиной маленькой женщины с блестящими черными глазками, был бюст поэта работы Годье-Бжешка, стоящий на полу в гостиной. Скука охватила внезапно, но прочно.

Подали чай, но только мы сделали первый глоток, как хозяйка – седая, тщедушная, опрятная дама с запасом сил еще на много лет – подняла острый палец, попавший на невидимую умственную пластинку, и из поджатых губ полилась ария, партитура которой была обнародована самое позднее в 1945 году. Что Эзра не был фашистом; что они боялись, что американцы (довольно странно слышать от американки) отправят его на стул; что о творившемся он ничего не знал; что в Рапалло немцев не было; что он ездил из Рапалло в Рим только дважды в месяц на передачу; что американцы опять-таки ошибались, считая, что Эзра сознательно... В какой-то момент я отключился – с тем большей легкостью, что английский мне не родной, – и просто кивал в паузах или когда она прерывала монолог риторическим «Capito?»¹⁰. Запись, решил я; «голос

¹⁰ «Понятно?» (ит.).

ее хозяина». Будь вежлив и не перебивай даму; это ахинейя, но она в нее верит. Во мне, видимо, есть часть, всегда уважающая физическую сторону речи, независимо от содержания; само движение чьих-то губ существенней, чем то, что их движет. Я глубже уселся в кресло и попытался сосредоточиться на печенье, поскольку ужина не подали.

Прервал дремоту голос Сюзанны, из чего я заключил, что пластинка остановилась. В его тембре было что-то необычное, и я наострил уши. Сюзанна говорила: «Но, Ольга, вы же не думаете, что американцы рассердились на Эзру из-за передач. Если б дело было в одних передачах, тогда Эзра был бы просто второй «Токийской Розой»¹¹. Да, это был один из шикарнейших выпадов, когда-либо слышанных мной. Я посмотрел на Ольгу. Она, нужно признать, встретила удар по солдатски. Точнее говоря, профессионально. Или же просто не поняла Сюзанну, хотя вряд ли. «А из-за чего же?» – поинтересовалась она. «Из-за антисемитизма Эзры», – ответила Сюзанна, и я увидел, как палец старой дамы корундовой иглой снова скакнул в бороздку. На этой стороне пластинки было записано, что «нужно понимать, что Эзра не был антисемитом, что его все-таки звали Эзра, что у него были друзья евреи, в том числе один венецианский адмирал...» – столь же знакомая, столь же длинная песня – минут на 45; но нам уже было пора идти. Мы поблагодарили старую даму за вечер и распрощались. Лично я не испытывал грусти, обычно возникающей, когда уходишь из дома вдовы или вообще оставляешь кого-то одного в пустом месте. Старая дама выглядела молодцом, не бедствовала; плюс ко всему наслаждалась комфортом своих убеждений – и чтобы его сохранить, она, я понял, пойдет на все. Со старыми фашистами я никогда не сталкивался, но со старыми коммунистами имел дело не раз, и в доме Ольги Радж, с этим бюстом Эзры на полу, почувал тот самый дух. От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Фондамента дельи Инкурабили.

27.

Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности – зрачок, особенно серой или горчично-медовой разновидности, посрамляет любой хассельбладовский объектив и доводит будущие воспоминания до резкости снимка из «Нешнл Джиографик». Бодрая синева неба; солнце, улизнув от своего золотого двойника у подножия Сан-Джорджо, скользит по несметной чешуе плещущей ряби Лагуны; за спиной, под колоннадой Палаццо Дукале, коренастые ребята в шубах наяривают «Eine Kleine Nachtmusik»¹², специально для тебя, усевшегося на белом стуле и щурящегося на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске огромного кампо. Эспрессо на дне твоей чашки – единственная, как ты понимаешь, черная точка на мили вокруг. Таков здешний полдень. По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и, разжав твой глаз точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы, святых и львов – как бегущие сломя голову школьники прутьями по железной ограде парка или сада. «Изобрази», – кричит он, то ли принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сетчатки вместить то, что он предлагает, тем более – на способность твоего мозга это впитать. Возможно, последним первое и объясняется. Возможно, последнее и первое суть синонимы. Возможно, искусство есть просто реакция организма на собственную малоемкость. Как бы то ни было, ты подчиняешься приказу и хватаешь камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга. Придись этому городу туго с деньгами, он может обратиться к Кодaku за финансовой помощью – или же обложить его продукцию диким налогом. И точно так же, пока существует этот город, пока он освещен зимним светом, акции Кодака – лучшее помещение капитала.

¹¹ Ива Тогури – родившаяся в США японка, которая во время Второй мировой войны вела передачи японского радио на Америку.

¹² «Маленькая ночная серенада» (соч. Моцарта).

28.

На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. «Изобрази», – шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы или вернувшись в родной рай фронтона Сан-Закариа после долгого космического перелета. И ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Закариа час-другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. Ни тепла, ни энергии он не несет, растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц – достичь предмета, большого ли, малого, и сделать его видимым. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, а не Тьеполо или Тинторетто. И город нежится в нем, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности, откуда он явился. В конечном счете, именно предмет и делает бесконечность частной.

29.

А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем, с головой льва и туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первая точить клыки. Он может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели, отсутствие которой делает его странно привычным. При определенной специальности и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа – драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры, – пришедшие к нам из мифологии (заслужившей звание классического сюрреализма), суть наши автопортреты, в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды. С другой стороны, ничего фрейдистского, под – или бессознательного в них нет. Учитывая природу человеческой реальности, толкования снов есть тавтология, оправданная в лучшем случае соотношением дневного света и темноты. Впрочем, сомнительно, чтобы этот демократический принцип применялся в природе, где большинства нет ни у чего. Даже у воды, отражающей и преломляющей все, включая самое себя, меняющей формы и материалы, иногда бережно, иногда чудовищно. Этим и объясняется характер здешнего зимнего света; этим объясняется его привязанность к монстрам – и к херувимам. Вероятно, и херувимы – этап эволюции вида. Или наоборот, ибо, устроив их перепись в этом городе, получим цифру, превышающую численность населения.

30.

Однако из херувимов и чудовищ вторые требуют большего внимания. Хотя бы потому, что к ним вас причисляют чаще, чем к первым; хотя бы потому, что крылья обретаешь только в ВВС. Имея нечистую совесть, узнаешь себя в любой из этих мраморных, бронзовых, гипсовых небылиц – как минимум, в драконе, а не в св. Георгии. При специальности, заставляющей макать перо в чернильницу, можно узнать себя в обоих. В конце концов, святого без чудовища не бывает – не говоря уже о подводном происхождении чернил. Но даже не разводя эту идею ни чернилами, ни водой, ясно, что это город рыб, как пойманных, так и плавающих на воле. И, увиденный рыбой – если наделить ее человеческим глазом во избежание пресловутых искажений, – человек предстал бы чудовищем; может, и не осьминогом, но уж точно четвероногим. Чем-то, во всяком случае, гораздо более сложным, чем сама рыба. Поэтому неудивительно, что акулы так за нами гонятся. Спроси простую золотую рыбку – даже не пойманную, а на свободе – как я выгляжу,

она ответит: ты чудовище. И ее голос покажется странно знакомым, словно глаза у нее горчично-медового цвета.

31.

Поэтому, продвигаясь по этим лабиринтам, никогда не знаешь, преследуешь ли ты какую-то цель или бежишь от себя, охотник ли ты или дичь. Точно, что не святой, но, возможно, и не полноценный дракон; вряд ли Тесей, но и не изголодавшийся по девушкам Минотавр. Впрочем, греческая версия ближе к делу, поскольку победитель не получает ничего, поскольку убийца и убитый родня. Чудовище ведь приходилось единоутробным братом награде; во всяком случае – итоговой жене героя. Насколько мы знаем, Ариадна и Федра были сестры, и храбрый афинянин поимел обеих. Стремясь в зятя к критскому царю, он вполне мог пойти на убийственное задание, чтобы улучшить репутацию своей будущей семьи. Как от внучек Гелиоса от девиц ждали чистоты и блеска; об этом же говорят и их имена. Ведь даже мать, Пасифая, при всех своих темных влечениях, была Ослепительно Яркой. И возможно, она отдалась темным влечениям и, тем самым, быку как раз затем, чтобы доказать, что природе безразличен принцип большинства, так как рога быка напоминают лунный серп. Возможно, светотень интересовала ее сильнее, чем животные свойства, и она затмила быка по чисто оптическим соображениям. И тот факт, что бык, чья нагруженная символами родословная восходит к наскальной живописи, был настолько слеп, что обманулся искусственной коровой, сооруженной для Пасифаи Дедалом, доказывает, что ее предки берут верх в системе причинности, что преломленный ею свет Гелиоса все еще – после четверых детей (двух знаменитых дочерей и двух никчемных сыновей) – ослепительно ярок. А по поводу причинности следует добавить, что главный герой сюжета – именно Дедал, кроме очень правдоподобной коровы построивший – на этот раз для царя – тот самый лабиринт, где быкоголовый отпрыск и его убийца однажды столкнулись с печальными последствиями для первого. В каком-то смысле, вся история родилась в мозгу Дедала, и в особенности лабиринт, так похожий на мозг. В каком-то смысле, все между собой в родстве, по крайней мере преследователь и преследуемый. Поэтому неудивительно, что блуждания по улицам этого города, чьей самой крупной колонией в течение примерно трех веков был Крит, производят довольно тавтологическое впечатление, особенно когда смеркается, то есть когда убывают пасифайские, ариаднины и федрины свойства города. Иными словами, особенно вечером, когда предаешься самоуничтожению.

32.

На светлой стороне, конечно, множество львов: крылатых, с книгой, раскрытой на «Мир тебе, св. Марк», или же с нормальной кошачьей внешностью. Крылатые, строго говоря, тоже относятся к категории чудовищ. Правда, из-за своих занятий я всегда рассматривал их как более резвую и образованную разновидность Пегаса, который летать, конечно, может, но чье умение читать более сомнительно. Во всяком случае, лапой листать страницы удобнее, чем копытом. В этом городе львы на каждом углу, и с годами я невольно включился в почитание этого тотема, даже поместив одного из них на обложку одной моей книги: то есть на то, что в моей специальности точнее всего соответствует фасаду. Но они все равно чудовища, хотя бы потому, что рождены воображением города, даже в зените морской мощи не контролировавшего ни одной территории, где бы это животное водилось, пусть и в бескрылом состоянии. (Греки со своим быком оказались большими реалистами, несмотря на его неолитическую родословную.) Что до самого евангелиста, то он, разумеется, умер в Александрии, в Египте – но от естественных причин и ни разу не побывав на сафари. В общем, со львами дел христианский мир почти не имел, поскольку на его территории они не водились, обитая только в Африке, при этом в пустынях. Что, конеч-

но, сблизило их впоследствии с отцами-пустынниками; а кроме этого, христиане сталкивались со зверем только в качестве его пищи в римских цирках, куда львов ввозили с африканских берегов для увеселений. Их экзотичность – лучше сказать: их небывалость – и развязала фантазию древних, позволив приписывать этим зверям различные потусторонние свойства, в том числе и общение с Божеством. Так что не совсем нелепо сажать зверя на венецианские фасады в неправдоподобной роли стража вечного упокоения св. Марка; если не церковь, то саму Венецию можно счесть львицей, защищающей львенка. К тому же, в этом городе церковь и государство слились, совершенно византийским образом. Единственный случай, должен заметить, когда такое слияние обернулось, и очень скоро, выгодой для подданных. Поэтому неудивительно, что, как настоящий светский лев, он здесь в центре внимания, правда, держится при этом вполне по-человечески. На каждом карнизе, почти над каждым входом видишь либо его морду с человеческим выражением, либо человеческую голову с чертами льва. Обе, в конечном счете, имеют право зваться чудовищами (пускай добродушными), ибо в природе никогда не существовали. И еще потому, что имеют численный перевес над всеми остальными высеченными или вылепленными образами, включая Мадонну и Самого Спасителя. С другой стороны, зверя изваять легче, чем человека. Животному царству, в общем, не повезло в христианском искусстве, тем более – в доктрине. Так что местное стадо кошачьих может считать, что с его помощью животное царство берет реванш. Зимой они разгоняют наши сумерки.

33.

Однажды в сумерки, когда темнеют серые глаза, но набирают золота горчично-медовые, обладательница последних и я встречали египетский военный корабль, точнее легкий крейсер, швартовавшийся у Фондамента делла Арсенале, рядом с Жардиньо. Не могу сейчас вспомнить название корабля, но порт приписки точно был Александрия. Это было весьма современное военно-морское железо, ошестинившееся всевозможными антеннами, радарными, ракетными установками, бронебашнями ПВО, не считая обычных орудий главного калибра. Издалека его национальная принадлежность была неопределима. Даже вблизи пришлось бы подумать, потому что форма и выучка экипажа отдавали Британией. Флаг уже спустили, и небо над Лагуной менялось от бордо к темному пурпуру. Пока мы недоумевали, что привело сюда корабль – нужда в ремонте? новая помолвка Венеции и Александрии? надежда вытребовать назад мощи, украденные в двенадцатом веке? – вдруг ожили громкоговорители, и мы услышали: «Алла! Акбар Алла! Акбар!» Муэдзин созывал экипаж на вечернюю молитву, обе мачты на мгновение превратились в минареты. Крейсер обернулся Стамбулом в профиль. Мне показалось, что у меня на глазах вдруг сложилась карта или захлопнулась книга истории. По крайней мере, она сократилась на шесть веков: христианство стало ровесником ислама. Босфор накрыл Адриатику, и нельзя было сказать, где чья волна. Это вам не архитектура.

34.

Зимними вечерами море, гонимое встречным восточным ветром, до краев, точно ванну, заполняет все каналы, иногда через край.

Никто не бежит с первого этажа, крича: «Прорвало!», так как первого этажа нет. Город стоит по щиколотку в воде, и лодки, «как животные, на привязи у стен» (если вспомнить Кассиодора)¹³, встают на дыбы. Башмак паломника, попробовав воду, сушится в номере на батарее; туземец ныряет в чулан, чтобы выудить пару бот. «Acqua alta»¹⁴, – говорит голос по радио, и уличная тол-

¹³ Кассиодор (ок. 487 – ок. 578) – писатель и государственный деятель, живший в государстве остготов; автор «Истории готов», дошедшей в сокращенном изложении.

¹⁴ «Вода поднялась» (ит.).

чая спадает. Улицы пустеют, магазины, бары, рестораны и траттории закрываются. Горят только их вывески, наконец-то присоединившись к нарциссистским играм, пока мостовая ненадолго, поверхностно сравнивается с каналами в зеркальности. Правда, церкви по-прежнему открыты, но ведь ни клиру, ни прихожанам хождение по водам не в новинку. Ни музыке, близнецу воды. Семнадцать лет назад, переходя вброд одно кампо за другим, пара зеленых бот принесла меня к порогу розового зданьица. На стене я увидел доску, гласящую, что в этой церкви крещен родившийся раньше срока Антонио Вивальди. В те дни я еще был довольно рыжий; в те дни я растрогался, поняв, что попал на место крещения того самого «рыжего клирика», который так часто и так сильно радовал меня во множестве Богом забытых мест. И я вроде бы вспомнил, что именно Ольга Радж устроила первую неделю Вивальди в этом городе – так уж вышло, что за несколько дней до начала Второй мировой войны. Неделя проходила в палаццо графини Полиньяк, и мисс Радж играла на скрипке. Исполняя какую-то пьесу, она заметила краем глаза, что в зал вошел человек и стал у дверей, поскольку все места были заняты. Пьеса была длинная, и она начала беспокоиться, потому что приближалась к пассажи, где требовалось перевернуть страницу, не прерывая игры. Человек, которого она видела краем глаза, передвинулся и исчез из поля зрения. Пассаж приближался, беспокойство росло. И вот ровно в ту секунду, когда ей надо было перевернуть страницу, слева от нее возникла рука, протянулась к пюпитру и медленно перевернула лист. И она продолжала играть, а когда трудное место кончилось, взглянула налево, чтобы выразить благодарность. «Вот так, – рассказывала Ольга Радж моему другу, – я впервые увидела Стравинского».

Так что можно войти и отстоять службу. Петь будут вполголоса, вероятно, по причине погоды. Если вас устроит такое извинение, то Адресата тем более. Кроме того, вы не в состоянии разобрать слова, на каком бы языке – итальянском или латыни – ни пели. Поэтому вы просто стоите или садитесь на скамью подальше и слушаете. «Мессу лучше всего слушать, – говорил Уистан Оден, – не зная языка». И действительно, в таких случаях невежество помогает сосредоточиться не меньше, чем слабое освещение, от которого пилигрим страдает в любой итальянской церкви, особенно зимой. Кидать монеты в осветительный автомат во время службы не очень-то хорошо. Кроме того, их часто не хватает у тебя в кармане, чтобы как следует насладиться картиной. В былое время я не расставался с мощным фонарем, каким пользуются нью-йоркские полицейские. Один из путей к богатству, думал я, это наладить производство миниатюрных долгодействующих ламп-вспышек, вроде фотографических. Я бы их назвал «Вечная вспышка» или, еще лучше, «Да будет свет» и через пару лет купил бы квартиру где-нибудь на Сан-Лио или Салюте. Даже мог бы жениться на секретарше компаньона, которой у него нет, так как нет и его самого... Музыка замирает: ее близнец, однако, поднялся, как ты обнаруживаешь, выйдя на улицу, – поднялся незначительно, но достаточно, чтобы возместить тебе замерший хорал. Ибо вода тоже хорал, и не в одном, а во многих отношениях. Это та же вода, что несла крестоносцев, купцов, мощи св. Марка, турок, всевозможные грузы, военные и прогулочные суда и, самое главное, отражала тех, кто когда-либо жил, не говорю уже – бывал, в этом городе, всех, кто шел посуху или вброд по его улицам, как ты теперь. Неудивительно, что она мутно-зеленая днем, а по ночам смоляной чернотой соперничает с твердью. Чудо, что город, глядя ее по и против шерсти больше тысячи лет, не протер в ней дыр, что она прежняя H₂O (хотя пить ее и не станешь), что она по-прежнему поднимается. Она действительно похожа на нотные листы, по которым играют без перерыва, которые прибывают в партитурах прилива, в тактовых чертах каналов, с бесчисленными облигато мостов, высоких окон. куполов на соборах Кодуччи, не говоря уже о скрипичных грифах гондол. В сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигантский оркестр, с тускло освещенными пюпитрами палаццо, с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе. Музыка, разумеется, больше оркестра, и нет руки, чтобы перевернуть страницу.

36.

Это тревожит оркестр, точнее, дирижеров, отцов города. По их подсчетам, этот город только за последний век осел на 23 см. Чем наслаждается глаз туриста – для туземца настоящая головная боль. И если бы одна головная боль, все было бы еще ничего. Но к ней прибавляется предчувствие, если не сказать страх, что городу уготована судьба Атлантиды. Страх не лишен оснований, хотя бы потому, что неповторимость города приравнивает его к особой цивилизации. Главной опасностью признаны высокие зимние приливы, довершают дело индустрия и сельское хозяйство материка, засоряющие Лагуну химическими отходами, и засорение каналов самого города. Правда, люди моей специальности еще с романтиков привыкли возлагать вину на человека, а не на природные бедствия. Поэтому, поддавшись тираническим инстинктам, я бы установил какие-нибудь шлюзные ворота, чтобы запрудить человеческое море, за последние два десятилетия поднявшееся на два миллиарда и на гребень волны выносящее отбросы. Я бы заморозил производство и число жителей в двадцатимильной зоне вдоль северного берега Лагуны, вычистил бы дно каналов драгами и землечерпалками (наняв для этой операции войска или платя местным компаниям сверхурочные) и развел бы в них нужные для очистки воды породы рыб и бактерий.

Я понятия не имею, что это за рыбы или бактерии, но уверен, что они существуют. Тирания редко синоним компетентности. На худой конец, я бы обратился к шведам и попросил рекомендаций у Стокгольмского муниципалитета: в этом городе, при всей его промышленности и населении, как только выходишь из отеля, с тобой, выпрыгнув из воды, здороваются семга. Если же дело в разнице температур, то можно попробовать сбросить в каналы ледяные глыбы или, в случае неудачи, регулярно освобождать холодильники туземцев от кубиков льда, поскольку виски здесь не в почете даже зимой.

«А почему же вы туда ездите именно зимой?» – спросил меня однажды мой издатель, сидя в китайском ресторане в Нью-Йорке в окружении своих голубых английских подопечных. «Да, почему? – подхватили они за своим возможным благодетелем. – Как там зимой?» Я подумал было рассказать им об acqua alta; об оттенках серого цвета в окне во время завтрака в отеле, когда вокруг тишина и лица молодоженов, подернутые томной утренней пеленой; о голубях, не пропускающих, в своей дремлющей склонности к архитектуре, ни одного изгиба или карниза местного барокко; об одиноком памятнике Франческо Кверини и двум его лайкам из истрийского камня, похожего, по-моему, цветом на последнее, что он видел, умирая, в конце своего злополучного путешествия на Северный полюс, – бедному Кверини, который слушает теперь шелест вечнозеленых в Жардиньо вместе с Вагнером и Кардуччи; о храбром воробье, примостившемся на вздрагивающем лезвии гондолы на фоне сырой бесконечности, взбаламученной сирокко. Нет, решил я, глядя на их изнеженные, но напряженно внимающие лица; нет, это не пройдет. «Ну, – сказал я, – это как Грета Гарбо в ванне».

37.

За эти годы, за долгие пребывания и короткие наезды, я был здесь, по-моему, счастлив и несчастлив примерно в равной мере. Это не так важно уже потому, что я приезжал сюда не с романтическими целями, а поработать, закончить вещь, перевести, написать пару стихотворений, если повезет; просто быть. То есть ни для медового месяца (ближе всего к которому я подошел много лет назад, на острове Иския у Сиены), ни для развода. Я, значит, работал. Счастье и горе просто навещали, хотя иногда оставались и после меня, словно прислуга. Я давно пришел к выводу, что не превращать свою эмоциональную жизнь в пищу – это добродетель. Работы всегда вдоволь, не говоря о том, что вдоволь внешнего мира. В конце концов, всегда остается этот город. И пока он есть, я не верю, чтобы я или кто угодно мог поддаться гипнозу или ослеплению любовной трагедии. Помню один день – день, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен

был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Фондамента Нуова жареной рыбой и полбутылкой вина. Нагрузившись, я направился к месту, где жил, чтобы собрать чемоданы и сесть на катер. Точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели, я прошел четверть мили по Фондамента Нуова и повернул направо у больницы Джованни и Паоло. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. И спиной к Фондамента и Сан-Микеле, держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив. Разумеется, через двенадцать часов приземлившись в Нью-Йорке, я угодил в самую поганую ситуацию за всю свою жизнь – или так мне тогда показалось. Но кот еще не покинул меня; если бы не он, я бы по сей день лез на стены в какой-нибудь дорогой психиатрической клинике.

38.

Ночью здесь, в общем, делать нечего. Оперные и церковные концерты, конечно, вариант; но они требуют предприимчивости и хлопот: билеты, программки, все такое. Я в этом не силен; это все равно что готовить себе самому обед из трех блюд – или еще тоскливее. Кроме того, мне так везет, что когда бы я ни наметил вечер в Ла Фениче¹⁵, там недельная полоса Чайковского или Вагнера – равноценных с точки зрения моей аллергии. Хоть бы раз Доницетти или Моцарт! Остается читать и уныло разгуливать, что почти одно и то же, поскольку ночью эти каменные узкие улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой библиотеки, и с той же тишиной. Все «книги» захлопнуты наглухо, и о чем они, догадываешься только по имени на корешке под дверным звонком. О, здесь ты найдешь твоих Доницетти и Россини, твоих Люлли и Фрескобальди! Может быть, даже Моцарта, может быть, даже Гайдна. Еще эти улицы похожи на внутренность гардероба: вся одежда из темной, облезшей ткани, но подкладка красна и отликает золотом. Гете назвал это место «республикой бобров», но Монтеке был, наверное, метче со своим решительным «un endroit o`u il devrait ny' avoir que des poisons»¹⁶. Ибо и тогда, и теперь через канал в двух-трех горящих, высоких, закругленных, полузавешенных газом или тюлем окнах видны подсвечник-осьминог, лакированный плавник рояля, роскошная бронза вокруг каштановых или красноватых холстов, золоченый костяк потолочных балок – и кажется, что ты заглянул в рыбу сквозь чешую и что у рыбы званый вечер. Издали – через канал – трудно разобрать, где гость, где хозяйка. При всем уважении к лучшей из наличных вер должен признаться, что не считаю, будто это место могло развиваться только из знаменитой хордовой, торжествующей или нет. Я подозреваю и готов утверждать, что, в первую очередь, оно развилось из той самой стихии, которая дала этой хордовой жизнь и приют и которая, по крайней мере для меня, синоним времени. Эта стихия проявляется в массе форм и цветов, с массой разных свойств, не считая тех, что связаны с Афродитой и Спасителем: штиль, шторм, вал, волна, пена, рябь, не говоря об организмах. На мой взгляд, этот город воспроизводит и все внешние черты стихии и ее содержимое. Брызга, блеща, вспыхивая, сверкая, она рвалась вверх так долго, что не удивляешься, если некоторые из ее проявлений обрели в итоге массу, плоть, твердость. Почему это случилось именно здесь, понятия не имею. Вероятно, потому, что стихия услышала итальянскую речь.

39.

Глаз – наиболее самостоятельный из наших органов. Причина в том, что объекты его внимания неизбежно размещены вовне. Кроме как в зеркале, глаз себя никогда не видит. Он закрывается

¹⁵ Театр в Венеции.

¹⁶ «Место, где должны жить только рыбы» (фр.).

последним, когда тело засыпает. Он остается открыт, когда тело разбито параличом или мертво. Глаз продолжает следить за реальностью при любых обстоятельствах, даже когда в этом нет нужды. Спрашивается «почему?», и ответ: потому, что окружение враждебно. Взгляд есть орудие приспособления к окружающей среде, которая остается враждебной, как бы хорошо к ней ни приспособиться. Враждебность окружения растет пропорционально длительности твоего в нем присутствия, причем речь не только о стариках. Короче, глаз ищет безопасности. Этим объясняется пристрастие глаза к искусству вообще и к венецианскому в частности. Этим объясняется тяга глаза к красоте, как и само ее существование. Ибо красота утешает, поскольку она безопасна. Она не грозит убить, не причиняет боли. Статуя Аполлона не кусается, и не укусит пудель Карпаччо. Когда глазу не удастся найти красоту (она же утешение), он приказывает телу ее создать, а если и это не удастся, приучает его считать уродливое замечательным. В первом случае он полагается на человеческий гений; во втором обращается к запасам нашего смирения. Которого всегда больше, и поэтому, как всякое большинство, оно склонно диктовать законы. Возьмем какой-нибудь пример; возьмем молодую, скажем, девушку. В известном возрасте разглядываешь проходящих девушек без прикладного интереса, без желания на них взобраться. На манер телевизора, работающего в пустой квартире, глаз продолжает передавать изображения всех этих чудес 1 м 73 см ростом: светло-каштановые волосы, овал Перуджино, газельи глаза, лоно кормилицы и талия осы, темно-зеленый бархат платья и немислимо тонкие щиколотки и запястья. Глаз может нацелиться на них в церкви, у кого-нибудь на свадьбе или, еще хуже, в поэтическом отделе книжного магазина. Достаточно дальнорезкий или прибегающий к подсказке уха, глаз может узнать, кто они такие (и тогда могут прозвучать такие захватывающие имена, как, например, Арабелла Ферри) и, увы, что у них с кем-то роман. Несмотря на бесполезность данных, глаз продолжает их собирать. Фактически, чем данные бесполезней, тем резче фокус. Спрашивается «почему?» – и ответ: потому что красота – всегда внешняя; потому что она – исключение из правил. Вот это – ее местоположение и ее исключительность – и заставляет глаз бешено вибрировать или – говоря рыцарским слогом – странствовать. Ибо красота есть место, где глаз отдыхает. Эстетическое чувство – двойник инстинкта самосохранения и надежнее этики. Главное орудие эстетики, глаз, абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе.

40.

Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка в неспособности сетчатки и самой слезы эту красоту удержать. Любовь, в общем, приходит со скоростью света; разрыв – со скоростью звука. Падение скорости от большей к меньшей и увлажняет глаз. Поскольку ты сам конечен, отъезд из этого города всегда кажется окончательным; оставив его позади, оставляешь его навсегда. Ибо отъезд есть ссылка глаза в провинцию прочих чувств; в лучшем случае, в расселины и расщелины мозга. Ибо глаз отождествляет себя не с телом, а с объектом своего внимания. И для глаза, по соображениям чисто оптическим, отъезд означает не расставание тела с городом, а прощание города со зрачком. Так и удаление того, кого любишь, особенно постепенное, вызывает грусть, независимо от того, кто именно и по каким причинам реально движется. Сложилось так, что Венеция есть возлюбленная глаза. После него все разочаровывает. Слеза есть предвосхищение того, что ждет глаз в будущем.

41.

Безусловно, у всех на нее, на Венецию, есть виды. У политиков и у капитала особенно, ибо самое большое будущее у денег. Оно такое большое, что деньги воспринимаются как синоним будущего и стараются им распорядиться. Все время слышны разговоры о реанимации города, о

превращении всей провинции Венето в морские ворота Центральной Европы, развитию здешней промышленности, расширении портового комплекса Маргеры, увеличении танкерного судоходства в Лагуне и углублении Лагуны в этих целях, превращении венецианского Арсенала, обесмерченного Данте, в местный аналог Бобура, то есть в склад самого свежего интернационального мусора, о размещении там Экспо-2000 и т. п. Вся эта околесица несется из тех самых ртов, которые еще не успели закрыться после болтовни об экологии, сохранении, реставрации, культурном наследии и т. п. Цель всего этого одна: насилие. Конечно, никакой насильник не захочет признать себя таковым, тем более попасться. Отсюда смесь планов и метафор, возвышенной риторики и лирического пыла, раздувающая могучие грудные клетки депутатов и commendatore.

Хотя эти персонажи гораздо опаснее турок, австрийцев и Наполеона вместе взятых, за те семнадцать лет, что я посещал этот город, здесь мало что изменилось. Венецию, как и Пенелопу, спасает от женихов их соперничество, конкурентная природа капитализма, которая сократилась до родства толстосумов и партий. При демократии если чему научились, так это совать друг другу палки в колеса, и чехарда итальянских кабинетов зарекомендовала себя самой надежной страховкой города. Как и путаница политических ребусов самой Венеции. Дожей больше нет, восьмьюдесятью тысячами обитателей этих 118 островов руководит уже не чей-то великий замысел, а непосредственные, зачастую близорукие заботы, желание свести концы с концами. Дальновидность здесь, впрочем, только бы навредила. В месте таких размеров 20 или 30 безработных уже повод для беспокойства городского совета, что наряду с врожденным недоверием островов к материке содействует плохому приему материковых планов, сколь угодно захватывающих. Обещания полной занятости и развития, как бы привлекательно они ни звучали во всяком ином месте, мало что значат в этом городе, еле набирающем восемь миль в периметре, и даже в апогее морских успехов не вмещавшем более 200 000 душ. Такие перспективы могут поразить лавочника или врача; но похоронное бюро стало бы возражать, поскольку местные кладбища и без того перенаселены, и мертвых пришлось бы хоронить на материке. В конечном счете, как раз на это материк и годен. Правда, будь похоронный агент и врач членами разных партий, какой-то прогресс стал бы возможен. В этом городе они часто состоят в одной, и дело стопорится довольно быстро, даже если эта партия – ИКП. Короче, в основе всех этих склок, невольных или вольных, лежит та простая истина, что острова не растут. Этого деньги, они же будущее, они же говорливые политиканы и толстосумы, как раз и не понимают. Хуже того, они чувствуют, что это место с ними не считается, поскольку красота, *fait accompli*¹⁷ по определению, никогда не считается с будущим, ни во что его не ставя, как и напыщенное, беспомощное настоящее. Лучше всего это видно по современному искусству, которое делает пророческим только его нищета. Нищий всегда за настоящее. Возможно, единственная цель коллекции Пегги Гуггенхайм и ей подобных наносов дряни двадцатого века, выставляемых здесь, – это показать, какими самодовольными, ничтожными, неблагородными, одномерными существами мы стали – привить нам смирение. Другой результат и немислим на фоне этой Пенелопы среди городов, ткущей свои узоры днем и распускающей ночью, без всякого Улисса на горизонте. Одно море.

42.

По-моему, Хэзлитт сказал, что единственной вещью, способной превзойти этот водный город, был бы город, построенный в воздухе. Идея в духе Кальвино, и почему знать, освоение космоса может доразвиться до ее реализации. Пока что, кроме высадки на луне, лучшую память по себе наш век заслужил за то, что не тронул этого города, оставил его в покое. Лично я против даже самого осторожного вмешательства. Кинофестивали и книжные ярмарки, конечно, под

¹⁷ Свершившийся факт (фр.).

стать мерцающей поверхности каналов, их вычурному, неразборчивому почерку под изучающим взглядом сирокко. И конечно, превратить это место в столицу научных исследований тоже приемлемый вариант, особенно учитывая вероятную выгоду от местной фосфорной диеты для любого умственного труда. Такой же соблазн – перенести сюда штаб-квартиру Общего рынка из Брюсселя или Европейский парламент из Страсбурга. Конечно, лучшим решением будет предоставление этому городу и части его окрестностей статуса национального парка. Но хочу заметить, что идея превращения Венеции в музей так же нелепа, как и стремление реанимировать ее, влив свежей крови. Во-первых, то, что считается свежей кровью, всегда оказывается в итоге обычной старой мочой. И во-вторых, этот город не годится в музеи, так как сам является произведением искусства, величайшим шедевром, созданным нашим видом. Вы ведь не оживляете картину, тем более статую. Вы оставляете их в покое, оберегаете их от вандалов – орды которых могут включать и вас.

43.

Времена года суть метафоры для наличных континентов, и в зиме всегда есть что-то антарктическое, даже здесь. Город уже не полагается, как прежде, на уголь, теперь есть газ. Великолепные, тромбоподобные дымоходы, напоминающие те средневековые башенки, которые видны на заднем плане любой картины с Мадонной или распятием, бездействуют и постепенно осыпаются с местного горизонта. В результате ты дрожишь и ложишься спать в шерстяных носках, так как батареи соблюдают свои неритмичные циклы даже в отелях. Только алкоголь способен смягчить удар полярной молнии, пронзающей тело при первом шаге на мраморный пол, в тапочках или без, в туфлях или без. Если вечером ты работаешь, то зажигаешь целый парфенон свечей – не ради настроения или света, а из-за их иллюзорного тепла; или перемещаешься на кухню, зажигаешь плиту и закрываешь дверь. Все источает холод, особенно стены. Против окон не возражаешь, потому что знаешь, чего от них ждать. Они, в сущности, просто пропускают холод, в то время как стены его копят. Помню, я как-то провел январь на пятом этаже в доме около церкви Фава. Владельцем квартиры был потомок не кого-нибудь, а Уго Фосколо. Он был лесной инженер или что-то такое и, естественно, уехал по делам службы. Квартира была не такой уж большой: две скудно обставленные комнаты. Зато потолок был исключительно высокий и, соответственно, окна. Их было 6 или 7, поскольку квартира была угловая. В середине второй недели отключилось отопление. В тот раз я был не один, и моя соратница и я тянули жребий, кому спать у стенки. «Почему мне всегда к стенке? – спрашивала она заранее. – Потому что я жертва?» И ее горчично-медовые глаза недоверчиво темнели при очередном проигрыше. Она укутывалась на ночь в розовую фуфайку, шарф, чулки, длинные носки и, сосчитав «uno, due, tre!», прыгала в кровать, словно в темную реку. Которой кровать, видимо, и была для нее – итальянки, римлянки с примесью греческой крови в жилах. «Единственное, с чем я не согласна у Данте, – говорила она, – это с описанием ада. Для меня ад холодный, очень холодный. Я бы оставила круги, но сделала их ледяными, и чтобы температура падала с каждым витком. Ад – это Арктика». И она действительно так считала. Замотав шарфом горло и голову, она напоминала Франческо Кверини на том памятнике в Жардиньо или знаменитый бюст Петрарки (который, в свою очередь, мне кажется вылитым Монтале – вернее, наоборот). Телефона в квартире не было, чаша дымоходных тромбонов маячила в темном небе. Все вместе напоминало Бегство в Египет, где она была и за мать и за младенца, а я за моего тезку и за осла; главное, был январь. «Между Иродом прошлого и фараоном будущего, – говорил я себе. – Между Иродом и фараоном, вот где мы». В конце концов я заболел. Холод и сырость справились со мной – вернее, с моими грудными мышцами и нервами, испорченными хирургией. Сердечный калека внутри меня запаниковал, и она усадила меня в парижский поезд, так как мы оба не очень доверяли местным больницам,

при всем моем обожании фасада Джованни и Паоло. Вагон был теплый, голова раскалывалась от нитроглицерина, компания берсальеров в купе отмечала начало отпуска с помощью кьянти и орущего транзистора. Я не знал, доберусь ли до Парижа; но на мой страх накладывалось ясное чувство, что если я туда попаду, то скоро – скажем, через год – вернусь в холодное место между Иродом и фараоном. Даже тогда, скрючившись на деревянной скамье купе, я полностью понимал абсурдность этого чувства, но поскольку абсурдность помогала заглянуть дальше страха, я был ей рад. Толчки вагона и воздействие его постоянной вибрации на костяк довершили, видимо, дело, расправив или еще сильнее испортив мои мускулы и т. п. А может быть, просто то, что в вагоне работало отопление. Во всяком случае, до Парижа я добрался, ЭКГ вышла сносная, и я сел на свой самолет в Штаты. Иначе говоря, выжил, чтобы рассказать это – и, вероятно, повторить.

44.

«Италия, – говорила Анна Ахматова, – это сон, который возвращается до конца ваших дней». Впрочем, следует отметить, что сны приходят нерегулярно, а их толкование нагоняет зевоту. Кроме того, если бы сон считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, непоследовательность. По крайней мере, в этом можно видеть оправдание просочившегося на эти страницы. И еще – объяснение того, что в течение всех семнадцати лет я пытался обеспечить повторяемость этого сна, обращаясь с моим сверх-я не менее жестоко, чем с моим бессознательным. Грубо говоря, скорее я возвращался к этому сну, чем наоборот. Само собой, где-то по ходу дела мне пришлось платить за эту жестокость или размывая то, что являлось для меня реальностью, или заставляя сон приобретать смертные черты, как это происходит с душой за время жизни. Я платил обоими способами; причем не имея ничего против, особенно против второго, принимавшего форму Картавенеция¹⁸ (действительна до января 1988) в бумажнике, гнева в этих глазах особого цвета (охочих, начиная с той же даты, до лучших видов), или чего-то столь же окончательного. Реальность страдала сильнее, и часто я пересекал Атлантику на обратном пути с отчетливым чувством, что переезжаю из истории в антропологию. Несмотря на все время, кровь, чернила, деньги и остальное, что я здесь пролил и просадил, я никогда не мог убедительно претендовать, даже в собственных глазах, на то, что приобрел хоть какие-то местные черты, что стал, в сколь угодно мизерном смысле, венецианцем. Слабая улыбка узнавания на лице хозяина гостиницы или траттории не в счет; и никого не могли обмануть купленные здесь костюмы. Постепенно я стал временным постояльцем в обоих государствах, причем больше огорчала меня моя неспособность убедить сон, что я в нем присутствую. Конечно, к этому неумению не привыкать. Но я полагаю, что можно говорить о верности, если возвращаешься в место любви, год за годом, в несезон, без всяких гарантий ответной любви. Ибо, как любая добродетель, верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или характера, а не разума. Кроме того, в определенном возрасте и к тому же при определенной специальности, ответная любовь, строго говоря, не обязательна. Любовь есть бескорыстное чувство, улица с односторонним движением. Вот почему можно любить города, архитектуру *per se*¹⁹, музыку, мертвых поэтов, или, в случае особого темперамента, божество. Ибо любовь есть роман между предметом и его отражением. Это, в конце концов, и приносит тебя в этот город, как прилив приносит воды Адриатики и, дополнительно, Атлантики и Балтики. Во всяком случае, предметы не задают вопросов; пока эта стихия существует, их отражение гарантировано – в форме возвращающегося путешественника или в форме сна, ибо сон есть верность закрытого глаза. Это та надежность, которой лишен человеческий род, хотя мы тоже отчасти вода.

¹⁸ Своего рода проездной билет.

¹⁹ Как таковую (лат.).

45.

Если бы мир считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, вода. Если этого не происходит, то или потому, что у Всемогущего, кажется, не так много альтернатив, или потому, что сама мысль в своем движении подражает воде. Как и почерк, как и переживания, как кровь. Отражение есть свойство жидких субстанций, и даже в дождливый день можно доказать превосходство своей верности над верностью стекла, встав за ним. Этот город захватывает дух в любую погоду, разнообразие которой, во всяком случае, несколько ограничено. А если мы действительно отчасти синоним воды, которая точный синоним времени, тогда наши чувства к этому городу улучшают будущее, вносят вклад в ту Адриатику или Атлантику времени, которая запасает наши отражения впрок до тех времен, когда нас уже давно не будет. Из них, как из обтрепанных рисунков сепией, время, может быть, сумеет составить, по принципу коллажа, лучшую, чем без них, версию будущего. В этом смысле все мы венецианцы по определению, поскольку там, в своей Адриатике, или Атлантике, или Балтике, время, оно же вода, вяжет или ткёт из наших отражений (они же любовь к этому месту) неповторимые узоры, совсем как иссохшие старухи в черном на здешних островах, навсегда погруженные в свое глазоломное рукоделие. Они, правда, к пятидесяти годам теряют зрение или рассудок, но их заменяют дочери или внучки. Среди рыбачек для Парок всегда найдется вакансия.

46.

Чего местные никогда не делают, это не катаются на гондолах. Начать с того, что катание на гондоле дорого обходится. Только туристу-иностранцу, причем состоятельному, оно по карману. Понятен поэтому средний возраст пассажиров гондолы: семидесятилетний не моргнув глазом отстегнет одну десятую учительского оклада. Вид этих дряхлых Ромео и климактерических Джульетт неизменно вызывает грусть и замешательство, если не ужас. Для молодых, то есть для тех, для кого такая вещь и предназначена, гондола так же недоступна, как пятизвездный отель. Экономика, конечно, отражает демографию: и это вдвойне печально, потому что красота вместо того, чтобы быть обещанием мира, сводится к награде. Это, в скобках замечу, и гонит молодых на природу, к ее даровым, или точнее – дешевым радостям, доступ к которым свободен – то есть избавлен от смысла и таланта, присутствующих в искусстве или в мастерстве. Потрясающим может быть и пейзаж, но фасад Ломбардини говорит тебе, что ты можешь сделать. И один из способов – подлинный – глядеть на такие фасады – это сидя в гондоле: так можно увидеть то, что видит вода. Разумеется, это не имеет ничего общего с распорядком дня местных жителей, которые шастают и носятся по своим повседневным делам, не обращая внимания или даже страдая аллергией на окружающий блеск. Ближе всего к поездке на гондоле они оказываются на пароме через Канале Гранде или везя домой какую-нибудь громоздкую покупку – стулья или стиральную машину. Но ни паромщик, ни лодочник не запоют по такому поводу «O sole mio»²⁰. Возможно, свое безразличие туземцы переняли у самого искусства, безразличного к собственному отражению. Это могло бы служить им последним доводом против гондолы, если бы его нельзя было опровергнуть, предложив ночное катание, на что я однажды согласился.

Ночь была холодная, лунная, тихая. В гондоле нас было пятеро, включая ее владельца, местного инженера, который и греб вместе со своей подругой. Мы виляли и петляли, как угорь, по молчаливому городу, нависшему над нами, пещеристому и пустому, похожему в этот поздний час на широкий, более или менее прямоугольный коралловый риф или на анфиладу необитаемых гротов. Это было необычное ощущение: двигаться по тому, поверх чего привык смотреть, – по каналам; как будто прибавилось еще одно измерение. Наконец, мы выскользнули в Лагуну и

²⁰ «О мое солнце» (ит.).

взяли курс к Острову мертвых, к Сан-Микеле. Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде – похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. Эротическое – из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки. Из-за нас гондола, наверно, стала чуть тяжелее, и вода на миг раздавалась под нами лишь затем, чтобы сразу сомкнуться. И потом, движимая мужчиной и женщиной, гондола не была даже мужественной. В сущности, речь шла об эротизме не полов, а стихий, об идеальном союзе их одинаково лакированных поверхностей. Ощущение было среднего рода, почти кровосмесительным, словно при нас брат ласкал сестру или наоборот. Мы обогнули Остров мертвых и направились обратно к Канареджо²¹. Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Мадонна делл'Орто-не столько потому, что ночь – самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной Мадонны Беллини с Младенцем. Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от подошвы Младенца. Этот дюйм – гораздо меньше! – и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть предел эротики. Но собор был закрыт, и мы проследовали по тоннелю гротов, по этому плоскому, освещенному луной штреку Пиранезе с редкими искрами электрической руды, к сердцу города. Что ж, теперь я знал, что чувствует вода, ласкаемая водой.

47.

Мы высадились около бетонного ящика отеля Бауер-Грюнвальд, взорванного под конец войны местными партизанами, потому что там располагалось немецкое командование, а затем восстановленного. В качестве бельма на глазу он составляет хорошую пару церкви Сан-Моисе – самому деятельному фасаду в городе. Рядом они смотрятся как Альберт Шпеер, поедающий «pizza carricciosa». Я не бывал ни там, ни там, но знал одного немецкого господина, который останавливался в этом ящичном строении и нашел его очень уютным. Его мать умирала, пока он проводил здесь отпуск, и он ежедневно говорил с ней по телефону. Когда она скончалась, он попросил дирекцию продать ему телефонную трубку. Дирекция отнеслась с пониманием, и трубку включили в счет. Впрочем, он скорее всего был протестант, а Сан-Моисе католическая церковь, не говоря уже о том, что по ночам она закрыта.

48.

Равноудаленное от наших жилищ, это место не хуже любого другого подходило для высадки. Пересечь этот город пешком в любом направлении можно примерно за час. В том случае, разумеется, если ты знаешь дорогу – которую, выбравшись из этой гондолы, я знал. Мы распрощались и разошлись. Я пошел к своему отелю, усталый, пытаюсь глядеть по сторонам, бормоча под нос какие-то дурацкие, Бог знает откуда взявшиеся строки, вроде «Pillage this village» или «This city deserves no pity»²².

Напоминало раннего Одена, но это был не он. Вдруг захотелось выпить. Я свернул на Сан-Марко в надежде, что «Флориан» еще открыт. Он закрывался; из аркады убрали стулья, на окна водружали деревянные щиты. Короткие переговоры с официантом, который уже переоделся, чтобы идти домой, но которого я немного знал, привели к желаемому результату, и с этим результатом в руке я вышел из-под аркады и окинул взглядом 400 окон пьяццы. Она была абсолютно пустая, ни души. Кругловерхие окна тянулись в своем обычном сумасшедшем порядке, словно

²¹ Название моста, набережной и канала в Венеции.

²² «Грабьте это село», «Этот город не заслуживает жалости» (англ.).

геометрические волны. Этот вид всегда напоминал мне римский Колизей, где, по словам одного моего друга, кто-то изобрел арку и не смог остановиться. «Pillage this village, – по-прежнему бубнил я. – «This city deserves...» Туман поглощал пьядцу. Вторжение было тихим, но все равно вторжением. Я видел, как пики и копья молча, но очень быстро, движутся со стороны Лагуны, словно пехота перед тяжелой кавалерией. «Молча и очень быстро», – сказал я себе. Теперь в любую минуту их Король, Король Туман мог появиться из-за угла во всей своей клубящейся славе. «Молча и очень быстро», – повторил я. Это была строчка Одена, последняя строчка из «Падения Рима», и именно это место было «совсем не здесь». Внезапно я почувствовал, что он сзади, и резко обернулся. Высокое, гладкое окно «Флориана», хорошо освещенное и не прикрытое щитом, горело сквозь клочья тумана. Я подошел к нему и заглянул внутрь. Внутри был 195? год. На красных плюшевых диванах, вокруг мраморного столика с кремлем бутылок и чайников, сидели Уистан Оден со своей самой большой любовью – Честером Калманом, Сесил Дэй Льюис со своей женой и Стивен Спендер со своей. Уистан рассказывал какую-то смешную историю, и все хохотали. Посреди рассказа за окном прошел хорошо сложенный моряк, Честер встал и, не сказав даже «до свидания», пустился по горячему следу. «Я посмотрел на Уистана, – рассказывал мне Стивен годы спустя, – он продолжал смеяться, но в глазах у него стояли слезы». Тут окно потемнело. Король Туман въехал на пьядцу, осадил жеребца и начал разматывать белый тюрбан. Его сапоги были мокры, как и сбруя коня; плащ был усеян тусклыми, близорукими алмазами горящих ламп. Он был так одет, потому что понятия не имел, какой сейчас век, тем более год. С другой стороны, откуда туману знать.

49.

Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит.

Ноябрь 1989

Перевод с английского Г. Дашевского

Путешествие в Стамбул

Веронике Шильц

1

Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть что оно зачастую отражает скорее его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма – если не с полным недоверием. Единственное, что наблюдатель может, тем не менее, заявить в свое оправдание, это что и он, в свою очередь, обладает определенной степенью реальности, уступающей разве что в объеме, но никак не в качестве наблюдаемому им предмету. Подобие объективности, вероятно, достижимо только в случае полного самоотчета, отдаваемого себе наблюдателем в момент наблюдения. Не думаю, что я на это способен; во всяком случае, я к этому не стремился; надеюсь, однако, что все-таки без этого не обошлось.

2

Мое желание попасть в Стамбул никогда не было желанием подлинным. Не уверен даже, следует ли вообще употреблять здесь это понятие. Впрочем, ни капризом, ни подсознательным стремлением этого тоже не назовешь. Так что оставим «желание» и заметим, что частично оно объясняется обещанием, данным мной себе самому по отъезде из родного города навсегда, объехать обитаемый мир по широте и по долготе (т.е. по Пулковскому меридиану), на которых он расположен. С широтой на сегодняшний день все уже более или менее в порядке. Что до долготы, тут далеко не все так благополучно. Стамбул же находится всего лишь на пару градусов к Западу от названного меридиана.

3

Своей надуманностью вышеприведенная причина мало чем отличается от несколько более серьезной, главной, я бы сказал, причины, о которой – чуть ниже, и от ряда совершенно уж легкомысленных и второ-третьестепенных, о которых – немедленно (ибо они таковы, что о них – либо сейчас, либо никогда): а) в этом городе в начале века провел как-то два решающих года своей жизни мой любимый поэт, грек Константин Кавафис; б) мне почему-то казалось, что здесь, в домах и в кофейнях, должен был сохраниться исчезающий повсюду дух и интерьер; в) я надеялся услышать здесь, на отшибе у истории, тот «заморский скрип турецкого матраса», который, как мне казалось, я расслышал однажды ночью в Крыму; г) услышать обращенное к себе «эфенди»; д) но, боюсь, для перечисления этих вздорных соображений не хватит алфавита (хотя лучше, если именно вздор вас приводит в движение – ибо тогда и разочарование меньше). Поэтому перейдем к обещанной «главной» причине, даже если она и покажется многим заслуживающей, в лучшем случае, «е» или «ж».

4

«Главная» эта причина представляет собой верх надуманности. Состоит она в том, что несколько лет назад в разговоре с одним моим приятелем, американским византинистом, мне пришло в голову, что крест, привидевшийся Императору Константину во сне, накануне его победы над Максентием, – крест, на котором было начертано «Сим победиши», был крестом не христианским, но градостроительским, т.е. основным элементом всякого римского поселения. Согласно Эвсебию и прочим, вдохновленный видением этим, Константин немедленно снялся с места и отправился

на Восток, где, сначала в Трое, а потом, внезапно Троию покинув, в Византии он учредил новую столицу Римской Империи – т.е. Второй Рим. Последствия это перемещение имело столь значительные, что, независимо – прав я был или неправ, мне хотелось взглянуть на это место. В конце концов, я прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год – в Первом. Следовало – для коллекции – добрать Второй,

Но – займемся всем этим по порядку, буде таковой нам по силам.

5

Я прибыл в этот город и покинул его по воздуху, изолировав его, таким образом, в своем сознании, как некий вирус под микроскопом. Учитывая эпидемический характер, присущий всякой культуре, сравнение это не кажется мне безответственным. Составляя эту записку в местечке Сунион, на юго-восточном берегу Аттики, в 60 км от Афин, где я приземлился четыре часа назад, в гостинице «Эгейская», я ощущаю себя разносчиком определенной заразы, несмотря на непрерывную прививку «классической розы», которой я сознательно подвергал себя на протяжении большей части моей жизни. Меня действительно немного лихорадит от увиденного; отсюда – некоторая сбивчивость всего нижеследующего. Думаю, впрочем, что и мой знаменитый тезка ощущал нечто похожее, пытаюсь истолковать сны фараона. И одно дело заниматься интерпретацией сакральных знаков по горячим – точней, теплым – следам; другое – полторы тысячи лет спустя.

6

О снах. Сегодня под утро в стамбульской «Пера Палас» мне тоже привиделось нечто – вполне монструозное. То было помещение где-то на филологическом факультете Ленинградского университета, и я спускался по ступенькам с кем-то, кто казался мне Д.Е.Максимовым, но внешне походил более на Ли Марвина. Не помню, о чем шел разговор – но и не в нем дело. Меня привлекла бешеная активность где-то в темно-буром углу лестничной площадки – с весьма низким при этом потолком: я различил трех кошек, дравшихся с огромной – превосходившей их размеры – крысой. Глянув через плечо, я увидел одну из кошек, задранную этой крысой и бившуюся и трепыхавшуюся в предсмертной агонии на полу. Я не стал досматривать, чем сражение кончится, – помню только, что кошка затихла, – и, обменявшись каким-то замечанием с Максимовым-Марвином, продолжал спускаться по лестнице. Еще не достигнув вестибюля, я проснулся.

Начать с того, что я обожаю кошек. Добавить к этому, что не выношу низкие потолки. Что помещение только казалось филологическим факультетом – где и всего-то два этажа. Что серо-бурый, грязноватый его цвет был цветом фасадов и интерьера почти всего и, в частности, нескольких контор Стамбула, где я побывал за последние три дня. Что улицы в этом городе кривы, грязны, мощены булыжником и завалены отбросами, в которых постоянно роются голодные местные кошки. Что город этот – все в нем – очень сильно отдает Астраханью и Самаркандом. Что накануне решил уехать – но об этом позже. В общем, достаточно, чтобы засорить подсознание.

7

Константин был прежде всего римским императором, главой Западной Римской Империи, и «Сим победиши» означало для него прежде всего распространение его власти, его – лично – контроля над [всей] Империей. В гадании по внутренностям петуха накануне решительного сражения или в утверждениях о небесном содействии при успешном его исходе нет, разумеется, ничего нового. Да и расстояние между беспредельной амбицией и неистовой набожностью тоже, как правило, не слишком велико. Но даже если он и был истинно и истово верующим (а насчет этого имеются разнообразные сомнения – особенно если учесть, как он обращался со своими детьми и родственниками), «победиши» должно было для него быть равнозначным

завоеваниям, т.е. именно поселениям, сэттьлментам. План же любого римского сэттьлмента именно крест: центральная магистраль, идущая с севера на юг (как Корсо в Риме), пересекается такой же магистралью, идущей с Запада на Восток. От Лептис Магны до Кастрикума, таким образом, гражданин Империи всегда знал, где он находится по отношению к метрополии.

Даже если крест, о котором он толковал Эвсебию, был крестом Спасителя, составной частью его во сне – без- или подсознательной – являлся принцип сэттьлментовой планировки. К тому же в IV веке крест вовсе не был еще символом Спасителя: им была рыба, греческая анаграмма имени Христа. Да и самый крест распятия скорей напоминал собою русское (да и латинское заглавное) Т, нежели то, что изобразил Микеланджело, или то, что представляем себе сегодня мы. Что бы там Константин ни имел в виду, осуществление инструкций, полученных им во сне, приняло прежде всего характер территориального расширения Империи на восток, и возникновение Второго Рима было совершенно логическим этого расширения последствием. Будучи, судя по всему, натурой деятельной, Константин рассматривал политику экспансии как нечто абсолютно естественное. Тем более, если он действительно был истинно верующим христианином.

Был он им или не был? Вне зависимости от правильного ответа, последнее слово принадлежит всегда генотипу: племянником Константина оказался не кто иной, как Юлиан Отступник.

8

Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то строительство империи или туризм. В этом смысле мое появление в Стамбуле мало чем отличается от константиновского. Особенно – если он действительно стал христианином: т.е. перестал быть римлянином. У меня, однако, больше оснований упрекать себя за поверхностность, да и результаты моих перемещений по плоскости куда менее значительны. Я не оставляю по себе даже фотографий «на фоне», не только что – стен. В этом смысле я уступаю только японцам. (Нет ничего кошмарнее мысли о семейном фотоальбоме среднего японца: улыбающиеся коротконогие он и она на фоне всего, что в этом мире есть вертикального: статуи-фонтана-мечети-собора-башни-фасада-античного храма и т. п.; меньше всего там, наверное, будд и пагод.) «Когито эрго сум» уступает «фотография эрго сум»: так же, как «когито» в свое время восторжествовало над «созидаю». Иными словами, эфемерность моего присутствия – и моих мотивов – ничуть не менее абсолютна, чем физическая ощутимость деятельности Константина и приписываемых ему (или подлинных) соображений.

9

Римские элегии конца 1 века до н. э., особенно Проперций и Овидий, открыто издеваются над своим великим современником Вергилием и его «Энеидой». Это можно, конечно, объяснить духом личного соперничества, завистью к успеху, противопоставлением понимания поэзии как искусства личного, частного, понимаю ее как искусства государственного, как формы государственной пропаганды. Последнее ближе к истине, но далеко не истина, ибо Вергилий был не только автором «Энеиды», но также и «Буколик» и «Георгик».

Истина, вероятно, в сумме перечисленных соображений, к числу которых следует прежде всего добавить соображения чисто стилистические. Вполне возможно, что, с точки зрения элегиков, эпос – любой, в том числе и Вергилиев, – представлялся явлением ретроградным. Все они, т.е. элегики, были последователями александрийской школы в поэзии, давшей традицию короткого лирического стихотворения в том объеме, в котором мы знаем поэзию сегодня. Александрийцы, говоря короче, создали жанры, которыми поэзия пользуется по сей день.

Предпочтение, оказываемое александрийской традицией краткости, сжатости, частности, конкретности, учености, дидактичности и тому подобным вещам, было, судя по всему, реакцией

греческой изящной словесности на избыточные формы греческой литературы архаического периода – на эпос, драму, мифологизацию, – если не просто на мифотворчество. Реакцией, если вдуматься – но лучше не надо, – на Аристотеля. Александрийская традиция вобрала в себя все эти вещи и сильно их ужала до размеров элегии или эклоги, до иероглифичности диалога в последней, до иллюстративной (экземпла) функции мифа в первой. Т.е. речь идет об известной тенденции к миниатюризации – конденсации (хотя бы как средству выживания поэзии во все менее уделяющем ей внимание мире, если не как средству более непосредственного, немедленного влияния на души и умы читателей и слушателей), – как вдруг, изволите ли видеть, является Вергилий со своим гигантским социальным заказом и его гекзаметрами.

Я бы еще добавил здесь, что элегики – почти все без исключения – пользовались главным образом элегическим дистихом и что опять же почти все без исключения пришли в поэзию из риторических школ, готовивших их к юридической (адвокатской, т.е. аргументирующей – в современном понимании этого дела) профессии. Ничто лучше не соответствует риторической системе мышления, чем элегический дистих с его гекзаметрической тезой и ямбической антитезой. Элегическое двустипшие, говоря короче, давало возможность выразить как минимум две точки зрения, не говоря уже о всей палитре интонационной окраски, обеспечиваемой медлительностью гекзаметра и функциональностью пятистопного ямба с его дактилической – т.е. отчасти рыдающей, отчасти самоустраняющейся второй половиной.

Но все это – в скобках. За скобками же – упреки элегиков Вергилию не метрического, но этического характера. Особенно интересен в этом смысле ничуть не уступающий автору «Энеиды» в образительных средствах и психологически куда более изощренный – нет! одаренный! – Овидий. В одной из своих «Героид» – сборнике вымышленных посланий героинь любовной поэзии к их погибшим или покинувшим их возлюбленным – в «Дидона – Энею» – карфагенская царица упрекает оставившего ее Энея примерно следующим образом. «Я бы еще поняла, – говорит она, – если бы ты меня покинул, потому что решил вернуться домой, к своим. Но ты же отправляешься невесть куда, к новой цели, к новому, еще не существующему городу. Чтобы, видимо, разбить еще одно сердце», – и т. д. Она даже намекает, что Эней оставляет ее беременной и что одна из причин самоубийства, на которое она решается, – боязнь позора. Но это уже не относится к делу.

К делу относится следующее: в глазах Вергилия Эней – герой, ведомый богами. В глазах Овидия Эней – по существу беспринципный прохвост, объясняющий свое поведение – движение по плоскости – божественным промыслом. (На этот счет тоже у Дидоны имеются конкретные телеологические соображения, но опять-таки не в них дело – как и не в предполагаемой нами чрезвычайно охотно антигражданственности Овидия.)

10

Александрийская традиция была традицией греческой: традицией порядка (космоса), пропорциональности, гармонии, тавтологии причины и следствия (Эдиповский цикл): традицией симметрии и замкнутого круга. Элегики в Вергилий выводит из себя именно концепция линейного движения, линейного представления о существовании. Греков особенно идеализировать не стоит, но в наличии принципа космоса – от небесных светил до кухонной утвари – им не откажешь. Вергилий, судя по всему, был первым, в литературе по крайней мере, предложившим принцип линейности. Возможно, это носилось в воздухе; скорее всего, это было продиктовано расширением империи, достигшей масштабов, при которых человеческое перемещение и впрямь становилось безвозвратным. Потому-то «Энеида» и не закончена: она просто не должна – точнее, не могла – быть закончена. И дело вовсе не в «женственности», присущей культуре эллинизма, как и не в «мужескости» культуры Римской – и даже не в мужеложестве самого Вергилия. Дело в том, что принцип линейности, отдавая себе отчет в ощущении известной безответственности по

отношению к прошлому, с линейным этим существованием сопряженной, стремится уравновесить ощущение это детальной разработкой будущего. Результатом являются либо «пророчество задним числом» а ля разговоры Анхиса у Виргилия, либо социальный утопизм – либо: идея вечной жизни, т.е. Христианство.

Одно не слишком отличается от другого и третьего. Во всяком случае, именно в связи с этим сходством – а вовсе не за 4-ю эклогу – Виргилия вполне можно считать первым христианским поэтом. Пиши я «Божественную Комедию», я поместил бы данного автора именно в Рай. За выдающиеся заслуги перед принципом линейности – в его логическое завершение.

11

Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растет, oprичь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой угли костра. Этот запах! С примесью скверного табака и потного мыла. И исподнего, намотанного вокруг ихних чресел что твоя чалма. Расизм? Но он всего лишь форма мизантропии. И этот повсеместно даже в городе летящий в морду песок, выкалывающий мир из глаз – и на том спасибо. Повсеместный бетон, консистенции кизяка и цвета разрытой могилы. О, вся эта недалновидная сволочь – Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая мир не хуже любого Люфтваффе! Снобизм? Но он лишь форма отчаяния. Местное население, в состоянии полного ступора сидящее в нищих закусовых, задрав головы, как в намазе навыворот, к телеэкрану, на котором кто-то постоянно кого-то избивает. Либо – перекидывающееся в карты, вальты и девятки которых – единственная доступная абстракция, единственный способ сосредоточиться. Мизантропия? Отчаяние? Но можно ли ждать иного от пережившего апофеоз линейного принципа: от человека, которому некуда возвращаться? От большого дерьмотолога, сакрофага и автора «Садомахии».

12

Дитя своего века, т.е. IV в. н. э. – а лучше: п.В. – после Виргилия, – Константин, человек действия уже хотя бы потому, что – император, мог уже рассматривать себя не только как воплощение, но и как инструмент линейного принципа существования. Византия была для него крестом не только символическим, но и буквальным – перекрест ком торговых путей, караванных дорог и т. п.: с востока на запад не менее, чем с севера на юг. Одно это могло привлечь его внимание к месту, давшему миру (в VII веке до н. э.) нечто, что на всех языках означает одно и то же: деньги. Деньги же интересовали Константина чрезвычайно. Если он и обладал определенным гением, то скорее всего финансовым. Этому ученику Диоклетиана, так никогда и не научившемуся разделению власти с кем-либо, удалось, тем не менее, то, чего не могли добиться его предшественники: стабилизировать, выражаясь нынешним языком, валюту. Введенный при нем римский «солид» впоследствии на протяжении почти семи столетий играл роль нынешнего доллара. В этом смысле перенесение столицы в Византию было переездом банка на монетный двор, покрытием идеи – купюрой, наложением лапы на принцип.

Не следует, наверно, также упускать из виду, что благотворительность и взаимопомощь христианской Церкви в данный период представляла собой если не альтернативу государственной экономике, то, по крайней мере, выход из положения для значительной – неимущей – части населения. В значительной мере популярность Христианства в эту пору зиждилась не столько на идее равенства душ перед Всевышним, сколько на осязаемых нуждающимися плодах организованной системы взаимопомощи. То была своего рода помесь карточной системы и красного креста. Ни культ Изиды, ни неоплатонизм ничего подобного не организовывали. В чем и была их ошибка.

Можно только гадать о том, что творилось в душе и в уме Константина в смысле Христианской веры, но, Император, он не мог не оценить организационной и экономической эффективности данной церкви.

Кроме того, помещение столицы на самом краю империи как бы превращает край в центр и предполагает равновеликое пространство по «ту» сторону, от центра считая. Что равняется на карте Индии: объекту всех известных нам имперских грез, до и после Рождества Христова.

13

Пыль! эта странная субстанция, летящая вам в лицо. Она заслуживает внимания, она не должна скрываться за словом «пыль». Просто ли это грязь, не находящая себе места, но составляющая самое существо этой части света? Или она – Земля, пытающаяся подняться в воздух, оторваться от самой себя, как мысль от тела, как тело, уступающее себя жаре. Дождь выдает ее сущность, ибо тогда у вас под ногами змеятся буро-черные ручейки этой субстанции, придавленной обратно к булыжным мостовым, вниз по горбатым артериям этого первобытного кишлака, не успевающей слиться в лужи, ибо разбрызгиваемой бесчисленными колесами, превосходящими в своей сумме лица его обитателей, и уносимой ими под вопли клаксонов через мост куда-то в Азию, в Анатолию, в Ионию, в Трапезунд и в Смирну.

Как везде на Востоке, здесь масса чистильщиков обуви, всех возрастов, с ихними восхитительными, медью обитыми ящичками, с набором гуталина всех мастей в круглых медных же контейнерах величиной с «маленькую», накрытых куполообразной крышкой. Настоящие переносные мечети, только что без минаретов. Избыточность этой профессии объясняется именно грязью, пылью, после пяти минут ходьбы покрывающей ваш только что отражавший весь мир штиблет серой непроницаемой пудрой. Как все чистильщики сапог, эти люди – большие философы. А лучше сказать – все философы суть чистильщики больших сапог. Поэтому не так уж важно, знаете ли вы турецкий.

14

Кто в наше время разглядывает карту, изучает рельеф, прикидывает расстояния? Никто, разве что отпускники-автомобилисты. Даже военные этого больше не делают, со времен изобретения кнопки. Кто пишет письма с детальным перечислением и анализом увиденных достопримечательностей, испытанных ощущений? И кто читает такие письма? После нас не останется ничего, что заслуживало бы названия корреспонденции. Даже молодые люди, у которых, казалось бы, вдоволь времени, обходятся открытками. Люди моего возраста прибегают к открыткам чаще всего либо в минуту полного отчаяния в чужом для них месте, либо чтоб просто как-то убить время. Существуют, однако, места, разглядывание которых на карте на какой-то миг роднит вас с Провидением. Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие, – места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул, он же Константинополь, он же Византия. Спятивший светофор, все три цвета которого загораются одновременно. Не красный-желтый-зеленый, но белый-желтый-коричневый. Плюс, конечно, синий, ибо это именно вода – Босфор-Мрамора-Дарданеллы, отделяющие Европу от Азии... Отделяющие ли? О эти естественные пределы, проливы и уралы! Как мало они значили для армий или культур – для отсутствия последней – тем более. Для кочевников даже, пожалуй, чуть больше, чем для одушевленного принципом линейности и заведомо оправданного захватывающей картиной будущего Государя. Не оттого ли Христианство и восторжествовало, что давало цель, оправдывающую средства, т.е. действительность; что временно – т.е. на всю жизнь – избавляло от ответственности. Что следующий шаг – любой, в любом направлении – становился логическим. В духовном смысле, по крайней мере, не оказалось ли оно антропологическим эхом кочевничества: метастазом оно

в психологии человека оседлого. Или лучше: не совпадало ли оно с нуждами чисто имперскими? Ибо одной оплатой легионера (смысл карьеры которого – в выслуге лет, демобилизации и оседлости) не заставишь сняться с места. Его необходимо еще и воодушевить. В противном случае легионы превращаются в того самого волка, держать которого за уши умел только Тиберий. Следствие редко способно взглянуть на свою причину с одобрением. Еще менее способно оно причину в чем-либо заподозрить. Отношения между следствием и причиной, как правило, лишены рационального, аналитического элемента. Как правило, они тавтологичны и, в лучшем случае, окрашены воодушевлением последнего к первому.

Поэтому не следует забывать, что система верования, именуемая Христианством, пришла с Востока, и поэтому же не следует исключать, что одним из соображений, обуревавших Константина после победы над Максентием и вышеупомянутого видения, было желание приблизиться чисто физически к победы этой и этого видения истоку: к Востоку. Я не очень хорошо представляю себе, что творилось об ту пору в Иудее; но, по крайней мере, понятно, что, отправься Константин туда по суше, ему пришлось бы столкнуться со значительным количеством препятствий. Создавать же столицу за морем противоречило элементарному здравому смыслу. И не следует также исключать вполне возможной со стороны Константина неприязни к иудеям.

Забавна и немного пугающая, не правда ли, мысль о том, что Восток и впрямь является метафизическим центром человечества. Христианство было только одной, хотя и наиболее активной сектой, каковых в Империи было действительно великое множество. Ко времени воцарения Константина Римская империя, не в малой степени благодаря именно своему размеру, представляла собой настоящую ярмарку, базар вероисповеданий. За исключением, однако, коптов и культа Изиды, источником всех предлагавшихся систем верований и культов был именно Восток. Запад не предлагал ничего. Запад был, по существу, покупателем. Отнесемся же к Западу с нежностью именно за эту его неизобретательность, обошедшуюся ему довольно дорого, включая раздающиеся и по сей день упреки в излишней рационалистичности. Не набивает ли этим продавец цену своему товару? И куда он отправится, набив свои сундуки?

15

Если римские элегики хоть в какой-то мере отражали мироощущение своей публики, можно предположить, что ко времени Константина, т.е. четыре века спустя, доводы типа «отечество в опасности» и «Рах Романа» силу свою утратили. И если утверждения Эвсебия верны, то Константин оказывается ни больше ни меньше как первым крестоносцем. Не следует упускать из виду, что Рим Константина – это уже не Рим Августа. Это уже и, вообще-то говоря, не Рим античный: это Рим христианский. То, что Константин принес в Византию, уже не означало культуры классической: то была уже культура нового времени, настоящая на идее единобожия, приравнявшая политеизм – т.е. свое же собственное прошлое со всем его духом законов и т. п. – к идолопоклонству. Это был уже прогресс.

16

Здесь я хотел бы заметить, что мои представления об античности мне и самому кажутся немножко диковатыми. Я понимаю политеизм весьма простым – и поэтому, вероятно, ложным образом. Для меня это система духовного существования, в которой любая форма человеческой деятельности, от рыбной ловли до созерцания звездного неба, освящена специфическими божествами. Так что индивидуум, при наличии определенной к тому воли или воображения, в состоянии усмотреть в том, чем он занимается, метафизическую – бесконечную – подоплеку. Тот или иной бог может, буде таковой каприз взбредет в его кучевую голову, в любой момент посетить человека и на какой-то отрезок времени в человека вселиться. Единственное, что от

последнего требуется – если таково его, человека, желание, – это «очиститься», чтоб сделать этот визит возможным. Процесс очищения (катарсиса) весьма разнообразен и носит как индивидуальный (жертвоприношение, паломничество к священному месту, тот или иной обет), так и массовый (театр, спортивное состязание) характер. Очаг не отличается от амфитеатра, стадион от алтаря, кастрюля от статуи.

Подобное мироощущение возможно, я полагаю, только в условиях оседлости: когда богу известен ваш адрес. Неудивительно, что цивилизация, которую мы называем греческой, возникла именно на островах. Неудивительно, что плоды ее загипнотизировали на тысячелетия все Средиземноморье, включая Рим. Неудивительно и то, что, с ростом Империи и островом не будучи, Рим от этой цивилизации в конечном счете бежал. И бегство это началось именно с цезарей, с идеи абсолютной власти. Ибо в сфере жизни сугубо политической политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию. Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма.

Такого человека нет, его и Диоген днем с огнем не нашел бы. Более памятуя о культуре, называемой нами античной или классической, чем из вышеупомянутого инстинкта исходя, я могу сказать только, что чем дольше я живу, тем привлекательнее для меня это идолопоклонство, тем более опасным представляется мне единобожие в чистом виде. Не стоит, наверно, называть вещи своими именами, но демократическое государство есть на самом деле историческое торжество идолопоклонства над Христианством.

17

Константин знать этого, естественно, не мог. Полагаю, что он догадывался, что Рима больше нет. Христианин в этом императоре естественным – я бы сказал, пророческим – образом сочетался с государем. В самом этом его «Сим победиши» слышна амбиция власти. И действительно: победиши – более, чем он даже себе это представлял, ибо Христианство в Византии просуществовало еще десять столетий. Победа эта, однако, была, боюсь сказать, Пиррова. Качество этой победы и заставило Западную Церковь отложиться от Восточной. То есть Рим географический от Рима умышленного: от Византии. Церковь – Христову невесту от Церкви – жены государства. В своем движении на Восток Константин, возможно, руководствовался именно Востока этого политической конгениальностью – деспотий без опыта демократии – его собственному положению. Рим географический – худо-бедно еще хранил какие-то воспоминания о роли сената. У Византии таких воспоминаний не было.

18

Сегодня мне сорок пять лет. Я сижу голый по пояс в гостинице «Ликабетт» в Афинах, обливаясь потом и поглощая в огромных количествах кока-колу. В этом городе я не знаю ни души. Выйдя вечером на улицу в поисках места, где б я мог поужинать, я обнаружил себя в гуще чрезвычайно воодушевленной толпы, выкрикивавшей нечто невразумительное, – как я понимаю, у них на днях – выборы. Я брел по какой-то бесконечной главной улице, с ревущими клаксонами, запруженной то ли людьми, то ли транспортом, не понимая ни слова, – и вдруг мне пришло в голову, что это и есть тот свет, что жизнь кончилась, но движение продолжается; что это и есть вечность. Сорок пять лет назад моя мать дала мне жизнь. Она умерла в позапрошлом году. В прошлом году – умер отец. Их единственный ребенок, я, идет по улицам вечерних Афин, которых они никогда не видели и не увидят. Плод их любви, их нищеты, их рабства, в котором они и умерли, их сын свободен. И потому что они не встречаются ему в толпе, он догадывается, что он неправ, что это – не вечность.

Что видел и чего не видел Константин, глядя на карту Византии. Он видел, мягко говоря, табулу расу. Провинцию империи, населенную греками, евреями, персами и т. п. – публикой, с которой он давно уже привык иметь дело, – с типичными подданными восточной части своей империи. Языком был греческий, но для образованного римлянина это было как французский для русского дворянина в XIX веке. Он видел город, мысом вдающийся в Мраморное море, – город, который легко было защитить, стоило только обнести его стеной. Он видел города этого холмы, отчасти напоминавшие римские, и, если он прикидывал воздвигнуть там, скажем, дворец или церковь, вид из окон должен был быть сногшибательный: на всю Азию, и вся Азия взирала бы на кресты, церковь эту венчавшие. Можно также представить себе, что он развлекал себя мыслью о контроле над доступом в этот город оставленных позади римлян. Им пришлось бы тащиться сюда через всю Аттику или плыть вокруг Пелопонесса. «Этого пушу, а этого не пушу». Так, наверно, думал он об устраиваемом им на земле варианте Рая. О эти таможенные грезы! И он видел, как Византия приветствует в нем своего защитника от Сасанидов и от наших с вами, милостивые государи и милостивые государыни, предков с той стороны Дуная и как она, Византия, целует крест.

Не видел же он того, что имеет дело с Востоком. Воевать с Востоком – или даже освободить Восток – и жить на Востоке – разные вещи. Византия, при всей ее греческости, принадлежала к миру с совершенно отличными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были в ходу на Западе, в – каким бы языческим он ни был – Риме. Хотя бы уже чисто в военном отношении Персия, например, была более реальной для Византии, чем Эллада. И разница в степенях этой реальности не могла не отразиться в мироощущении этих будущих подданных христианского государя. Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь – целых три! – в свою защиту, в Исфагане или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на кол – или содрали бы с него живьем кожу, – и дело с концом, и не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего – как их действительно и не было на Востоке; был бы просто монолог Корана... Византия была мостом в Азию, но движение по этому мосту шло в обратном направлении. Разумеется, Византия приняла Христианство, но Христианству в ней было суждено овосточиться. В этом тоже в немалой степени секрет последующей неприязни к Церкви Восточной со стороны Церкви Римской. Да, спору нет, Христианство номинально просуществовало в Византии еще тысячу лет – но что это было за Христианство и какие это были христиане – другое дело.

Не видел – точнее, не предвидел – Константин и того, что впечатление, произведенное на него географическим положением Византии, – впечатление естественное. Что подобное впечатление Византия сможет произвести на восточных властителей, стоит им взглянуть на карту. Что и возымело место. Не раз и не два, с довольно грустными последствиями для Христианства. До VI – VII вв. трения между Востоком и Западом в Византии носили, в общем, нормальный, типа я-с-тебя-шкуру-спущу, военный характер и решались силой оружия – чаще всего в пользу Запада. Что, если и не увеличивало популярности креста на Востоке, по крайней мере внушало к нему уважение. Но к VII в. над всем Востоком восходит и воцаряется полумесяц, т.е. Ислам. С этого момента военные действия между Западом и Востоком, независимо от их исхода, начинают оборачиваться постепенной, неуклонной эрозией креста, релятивизмом византийского мироощущения в результате слишком близких и слишком частых контактов между двумя этими сакральными знаками. (Кто знает, не объясняется ли конечное поражение иконоклазма сознанием недостаточности креста как символа и необходимостью визуального соперничества с антифигуративным искусством Ислама? Не бред ли арабской вязи подхлестывал Иоанна Дамаскина?)

Константин не предвидел, что антииндивидуализм Ислама найдет в Византии почву настолько благоприятную, что к IX веку Христианство будет готово бежать оттуда на Север. Он, конечно, сказал бы, что это не бегство, но распространение Христианства, о котором он, теоретически, мечтал. И многие на это кивнут головой в знак согласия, что да, распространение. Однако Христианство, принятое Русью, уже не имело ничего общего с Римом. Пришедшее на Русь Христианство бросило позади не только тоги и статуи, но и выработанный при Юстиниане Свод Гражданских Законов. Видимо, чтоб облегчить себе путешествие.

20

Приняв решение уехать из Стамбула, я пустился на поиски пароходной компании, обслуживающей линию Стамбул – Афины или Стамбул – Венеция. Я обошел несколько контор, но, как всегда на Востоке, чем ближе вы к цели, тем туманнее способы ее достижения. В конце концов я выяснил, что раньше начала июня ни из Стамбула, ни из Смирны уплыть мне на Запад не удастся, ни на пассажирском судне, ни на сухогрузе или танкере. В одном из агентств массивная турчанка, дымя жуткой папиросой что твой океанский лайнер, посоветовала обратиться в контору компании, носящей австралийское, как я поначалу вообразил, название «Бумеранг». «Бумеранг» оказался прокуренной грязноватой конторой с двумя столами, одним телефоном, картой – естественно – мира на стене и шестью задумчивыми брюнетами, оцепеневшими от безделья. Единственно, что мне удалось извлечь из одного из них, сидящего ближе к двери, это что «Бумеранг» обслуживает советские круизы по Черному и Средиземному, но что на этой неделе у них ничего нет. Интересно, откуда родом был тот старший лейтенант на Лубянке, придумавший это название? Из Тулы? Из Челябинска?

21

Благоприятность почвы для Ислама, которую я имел в виду, объяснялась в Византии скорее всего ее этническим составом, т.е. смешением рас и национальностей, ни врозь, ни тем более совместно не обладавших памятью о какой-либо внятной традиции индивидуализма. Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли, приспособления – т.е. традиция, в значительной степени чуждая принципам нравственного абсолюта, чью роль – я имею в виду интенсивность ощущения – выполняет здесь идея рода, семьи. Я предвижу возражения и даже согласен принять их и в деталях и в целом. Но в какую бы крайность мы при этом ни впали с идеализацией Востока, мы не в состоянии будем приписать ему хоть какого-то подобия демократической традиции.

И речь при этом идет о Византии до турецкого владычества: о Византии Константина, Юстиниана, Теодоры – о Византии христианской. Но вот, например, Михаил Пселл, византийский историк, рассказывая в своей «Хронографии» о царствовании Василия II, упоминает, что его премьер-министром был его сводный брат, тоже Василий, которого в детстве, во избежание возможных притязаний на трон, просто кастрировали. «Естественная предосторожность, – отзывается об этом историк, – ибо, будучи евнухом, он не стал бы пытаться отобрать трон у законного наследника. Он вполне примирился со своей судьбой, – добавляет Пселл, – и был искренне привязан к царствующему дому. В конце концов, это ведь была его семья». Речь, заметим себе, идет о царствовании Василия II, т.е. о 986 – 1025 гг. н. э. Пселл сообщает об этом походя, как о рутинном деле – каковым оно и было – при Византийском дворе. Н.э.? Что же тогда до н. э.?

22

И чем измеряется эта э.? И измеряется ли она вообще? Заметим себе, что описываемое Пселлом происходит до появления турок. То есть ни о каком там Баязете-Мехмете-Сулеймане еще

ни слуху ни духу. Когда мы еще толкуем священные тексты, боремся с ересями, созываем соборы, сочиняем трактаты. Это – одной рукой. Другой мы кастрируем выблядка, чтоб у него, когда подрастет, не возникло притязаний на трон. Это и есть восточное отношение к вещам, к человеческому телу, в частности; и какая там э. или тысячелетье на дворе, никакой роли не играет. Неудивительно, что Римская Церковь воротит от Византии нос. И тут нужно кое-что сказать о Римской Церкви.

Ей, конечно, естественно было от Византии отвернуться. По причинам, перечисленным выше, но и еще потому, что, объективно говоря, Византия, этот Новый Рим, бросила Рим подлинный на произвол судьбы. За исключением Юстиниана, Рим был полностью предоставлен самому себе, то есть визиготам, вандалам и всем прочим, кому было не лень сводить с бывшей столицей древние или новые счеты. Константина еще понять можно: он вырос и провел большую часть своей жизни именно в Восточной империи. Что касается последующих византийских императоров, их отношение к Риму подлинному несколько менее объяснимо. Естественно, у них был хлопот полон рот дома, на Востоке, учитывая непосредственных соседей. Тем не менее, титул Римского императора все-таки должен был накладывать некоторые географические обязанности. Вся история, конечно, была в том, что Римскими императорами после Юстиниана становились выходцы, главным образом, из Восточных провинций, являвшихся главным поставщиком рекрутов для легионов, – т.е. с нынешних Балкан, из Сирии, из Армении и т. п. Рим для них был, в лучшем случае, идеей. Как и большинство своих подданных, некоторые из них и по-латыни не знали ни слова. Тем не менее, все считали себя, и назывались, и писались римлянами. (Нечто подобное можно наблюдать и сегодня в разнообразных доминионах Британской Империи или – зачем далеко ходить за примерами – среди, допустим, эвенков, являющихся советскими гражданами.) Иными словами, Рим остался сам по себе, и Римская Церковь тоже оказалась предоставленной самой себе. Было бы слишком долгим занятием описывать взаимоотношения Церкви в Византии и Церкви в Риме. Можно только заметить, что, в общем, оставленность Рима пошла в известной мере Римской Церкви на пользу. Но не только на пользу.

23

Я не предполагал, что эта записка о путешествии в Стамбул так разрастется, – и начинаю уже испытывать раздражение: и в отношении самого себя, и в отношении материала. С другой стороны, я сознаю, что другой возможности обсудить все эти дела мне не представится, ибо, если она и представится, я ее сознательно упущу. В дальнейшем я обещаю себе и тем, кто уже дошел в чтении до этого места, большую сжатость – хотя более всего мне хотелось бы сейчас бросить всю эту затею.

Уж если довелось прибегнуть к прозе – средству именно тем автору сих строк и ненавистному, что она лишена какой бы то ни было формы дисциплины, кроме подобия той, что возникает по ходу дела, – уж если довелось пользоваться прозой, то лучше было бы сосредоточиться на деталях, на описании мест и характеров – то есть тех вещей, столкнуться с которыми читателю этой записки, возможно, и не случится. Ибо все вышеизложенное, равно как и все последующее, рано или поздно должно прийти в голову любому человеку: ибо все мы, так или иначе, находимся в зависимости от истории.

24

Польза изолированности Церкви Римской от Церкви Восточной заключалась прежде всего в естественных выгодах, связанных с любой формой автономии. То есть Церкви в Риме почти никто и ничто, за исключением ее самой, не мешало выработаться в определенную твердую систему. Что и произошло. Комбинация Римского Права, принимаемого в Риме более всерьез,

нежели в Византии, и собственной логики внутреннего развития Римской Церкви действительно определилась в этико-политическую систему, лежащую в основе так называемой западной концепции государственного и индивидуального бытия. Как почти всякий развод, и этот, между Византией и Римом, был далеко не полным: масса имущества оставалась общей. Но, в общем, можно утверждать, что названная концепция очертила вокруг себя некий круг, который именно в концептуальном смысле Восток не переступал и в пределах которого – весьма обширных – и выработалось то, что мы называем или подразумеваем под Западным Христианством и вытекающим из него миропониманием.

Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит именно в том, что она – система. То есть в том, что ей, по определению, ради своего существования, приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему.

Недостатком системы, выработавшейся в Риме, недостатком Западного Христианства явилось его невольное ограничение представлений о Зле. Любые представления о чем бы то ни было зиждутся на опыте. Опыт зла для Западного Христианства оказался опыт, нашедший свое отражение в Римском Праве, с добавлением опыта преследования христиан римскими императорами до воцарения Константина. Этого немало, но это далеко не исчерпывает его, зла, возможности. Разводясь с Византией, Западное Христианство тем самым приравнивало Восток к несуществующему и этим сильно и, до известной степени, губительно для самого же себя снизило свои представления о человеческом негативном потенциале.

Сегодня, если молодой человек забирается с автоматом на университетскую башню и начинает поливать оттуда прохожих, судья – если этого молодого человека удастся обезвредить и он предстает пред судом – квалифицирует его как невменяемого, и его запирают в лечебницу для душевнобольных. На деле же поведение этого молодого человека принципиально ничуть не отличается от кастрации того царского выблядка, о котором нам повествует Пселл. Как и не отличается оно от иранского имама, кладущего десятки тысяч животов своих подданных во имя утверждения его, имама, представлений о воле Пророка. Или – от тезиса, выдвинутого Джугашвили в процессе все мы знаем чего, о том, что «у нас незаменимых нет». Общим знаменателем этих акций является антииндивидуалистическое ощущение, что человеческая жизнь – ничто, т.е. отсутствие – вполне естественное – представления о том, что она, человеческая жизнь, священна, хотя бы уже потому, что уникальна.

Я далек от того, чтобы утверждать, что отсутствие этого понимания – явление сугубо восточное. Весь ужас именно в том, что нет. Но непростительная ошибка Западного Христианства со всеми вытекающими из онога представлениями о мире, законе, порядке, норме и т. п. заключается именно в том, что, ради своего собственного развития и последующего торжества, оно пренебрегло опытом, предложенным Византией. Отсюда все эти становящиеся теперь почти ежедневными сюрпризы, отсюда эта неспособность – государственных систем и индивидуальная – к адекватной реакции, выражающаяся в оценке явлений вышеупомянутого характера как следствий душевного заболевания, религиозного фанатизма и проч.

25

В Топкапи – превращенном в музей дворце турецкого султана – в отдельном павильоне собраны наиболее священные сердцу всякого мусульманина предметы, связанные с жизнью Пророка. В восхитительно инкрустированных шкатулках хранятся зуб Пророка, волосы с головы Пророка. Посетителей просят не шуметь, понизить голос. Еще там вокруг разнообразные мечи, кинжалы, истлевший кусок шкуры какого-то животного с различимыми на нем буквами письма Пророка какому-то конкретному историческому лицу и прочие священные тексты, созерцая которые, не-

вольно благодаришь судьбу за незнание языка. Хватит с меня и русского, думал я. В центре, под стеклянным квадратным колпаком, в раме, отороченной золотом, находится предмет темно-коричневого цвета, сущность коего я не уразумел, пока не прочел табличку. Табличка, естественно, по-турецки и по-английски. Отлитый в бронзе «Отпечаток стопы Пророка». Минимум сорок восьмой размер обуви, подумал я, глядя на этот экспонат. И тут я содрогнулся: Йети!

26

Византия была переименована в Константинополь, если не ошибаюсь, при жизни Константина. В смысле простоты гласных и согласных, это название было, наверно, популярней у турок-сельджуков, чем Византия. Но и Стамбул тоже звучит достаточно по-турецки; для русского уха, во всяком случае. На самом деле Стамбул – название греческое, происходит, как будет сказано в любом путеводителе, от греческого «стан полин» – что означает(ло) просто «город». «Стан»? «Полин»? Русское ухо? Кто здесь кого слышит? Здесь, где «бардак» значит «стакан». Где «дурак» значит «остановка». «Бир бардак чай» – один стакан чаю. «Дурак автобуса» – остановка автобуса. Ладно хоть, что автобус только наполовину греческий.

27

Человеку с одышкой тут делать нечего, разве что нанять на весь день такси. Для попадающих в Стамбул с Запада город этот чрезвычайно дешев, в переводе на доллары-марки-франки и т. п. некоторые вещи не стоят ничего. Точнее: оказываются по ту сторону стоимости. Те же самые ботинки или, например, чай. Странное это ощущение – наблюдать деятельность, не имеющую денежного выражения: никак не оцениваемую. Похоже на некий тот свет, пре-мир, и, вероятно, именно эта потусторонность и составляет знаменитое «очарование» Востока для северного скряги.

28

Что воспоследовало – хорошо известно: невесть откуда возникли турки. Откуда они появились, ответ на это не очень внятен; ясно, что весьма издалека. Что привело их на берег Босфора – тоже не очень ясно, но понятно, что лошади. Турки – точнее: тюрки – были кочевниками: так нас учили в школе. Босфор, естественно, оказался преградой, и здесь-то тюрки, вместо того чтоб откочевать назад, решили перейти к оседлости. Все это звучит не очень убедительно, но мы это так и оставим. Чего они хотели от Константинополя-Византии-Стамбула – это, по крайней мере, понятно: они хотели быть в Константинополе. Примерно того же, что и сам Константин. До XI века сакрального знака у них не было. В XI он появился. Как мы знаем, это был полумесяц. Но в Константинополе были христиане, константинопольские церкви венчал крест. Тюркский, постепенно превратившийся в турецкий, роман с Византией продолжался примерно три столетия. Постоянство принесло свои плоды, и в XIV веке крест уступил купола полумесяцу. Остальное хорошо документировано, и распространяться об этом нужды нет. Хотелось бы только отметить значительное структурное сходство того, «как было», с тем, «как стало». Ибо смысл истории в существе структур, не в характере декора.

29

Смысл истории! Что, в самом деле, может поделаться перо с этим смешением рас, языков, вероисповеданий – с этим принявшим вегетативный, зоологический характер падением вавилонской башни, в результате которого, в один прекрасный день, индивидуум обнаруживает себя смотрящим со страхом и отчуждением на свою руку или на свой детородный орган – не а ля Витгенштейн, но охваченный ощущением, что эти вещи принадлежат не ему, что они – всего лишь составные части, детали «конструктора», осколки калейдоскопа, сквозь который не при-

чина на следствие, но слепая случайность смотрит на свет. Можно выскочить на улицу – но там летит пыль.

30

Разница между духовной и светской властью в Византии христианской была чрезвычайно незначительной. Номинально государю следовало считаться с суждениями Патриарха – что нередко имело место. С другой стороны, государь зачастую не только назначал Патриарха, но, в ряде случаев, оказывался или имел основания считать себя большим христианином, чем Патриарх. Мы уже не говорим о концепции помазанника Божьего, которая одна могла избавить государя от необходимости считаться с чьим бы то ни было мнением. Что тоже имело место и что – в сочетании с механическими чудесами, до которых Теофилий I был большой любитель, – и оказало, между прочим, решающее влияние на выбор, сделанный Русью в IX веке. (Между прочим же, чудеса эти: рыкающие искусственные львы, механические соловьи, поднимающийся в воздух трон и т. п. – византийский государь заимствовал, слегка их модифицировав, на Востоке, у своих персидских соседей.)

Нечто чрезвычайно схожее происходило и с Высокой Портой, то бишь с Османской империей, то бишь с Византией мусульманской. Мы опять-таки имеем дело с автократией, несколько более деспотического, сильно военизированного характера. Абсолютный глава государства – падишах, он же султан. При нем, однако, существует Великий муфтий – должность, совмещающая – отождествляющая – власть духовную с административной. Управляется же все государство посредством чрезвычайно сложной иерархической системы, в которой преобладает религиозный (для удобства скажем – идеологически выдержанный) элемент,

В чисто структурном отношении расстояние между Вторым Римом и Османской империей измеряемо только в единицах времени. Что это тогда? Дух места? Его злой гений? Дух порчи? И откуда, между прочим, «порча» эта в нашем лексиконе? Не от «Порты» ли? Неважно. Достаточно, что и Христианство, и бардак с дураком пришли к нам именно из этого места. Где люди обращались в Христианство в V веке с такой же легкостью, с какой они переходили в Ислам в XIV (и это при том, что после захвата Константинополя турки христиан никак не преследовали). Причины и того и другого обращений были те же самые: практические. Впрочем, это уже никак не связано с местом; это связано с видом.

31

О все эти бесчисленные Османы, Мехметы, Мурады, Баязеты, Ибрагимы. Селимы и Сулейманы, вырезавшие друг друга, своих предшественников, соперников, братьев, родителей и потомство – в случае Мурада II или III – какая разница! – девятнадцать братьев кряду – с регулярностью человека, бреющегося перед зеркалом. О эти бесконечные, непрерывные войны: против неверных, против своих же мусульман-но-шиитов, за расширение империи, в отместку за нанесенные обиды, просто так и из самозащиты. И о этот институт янычар, элита армии, преданная сначала султану, но постепенно вырабатывавшаяся в отдельную, только со своими интересами считающуюся касту, – как все это знакомо! О все эти чалмы и бороды – эта униформа головы, одержимой только одной мыслью: резать – и потому – а не только из-за запрета, накладываемого исламом на изображение чего бы то ни было живого, – совершенно неотличимые друг от друга! Потому, возможно, и «резать», что все так друг на друга похожи и нет ощущения потери. Потому и «резать», что никто не бреется. «"Рэжу", следовательно существую».

Да и что, вообще говоря, может быть ближе сердцу вчерашнего кочевника, чем принцип линейности, чем перемещение по плоскости, хоть в ту, хоть в эту сторону. И не оправданием, и не пророчеством ли одновременно звучат слова одного из них, опять-таки Селима, сказанные им

при завоевании Египта, что он, как властитель Константинополя, наследует Восточную Римскую Империю и, следовательно, имеет право на земли, когда-либо ей принадлежавшие? Не та же ли нота зазвучит четыреста лет спустя в устах Устрялова и третьеримских славянофилов, чей алый, цвета янычарского плаща, флаг благополучно вобрал в себя звезду и полумесяц Ислама? И молот – не модифицированный ли он крест?

Эти непрерывные, на протяжении без малого тысячелетия, войны, эти бесконечные трактаты со схоластическими интерпретациями искусства стрельбы из лука – не они ли ответственны за выработавшееся в этой части света отождествление армии и государства, политики как-продолжения-войны-только-другими-средствами, за вдохновенные, но баллистически реальные фантазии Циолковского?

И эта загадочная субстанция, эта пыль, летящая вам в морду на улицах Стамбула, – не есть ли это просто бездомная материя насильственно прерванных бесчисленных жизней, понятия не имеющая – чисто по-человечески, – куда ей приткнуться? Так и возникает грязь. Что, впрочем, тоже не спасает от сильной перенаселенности.

Человека с воображением, да к тому же еще и нетерпеливого, очень подмывает ответить на эти вопросы утвердительно. Но, может быть, не следует торопиться; может быть, надо повременить и дать им возможность стать «проклятыми» – даже если на это уйдет несколько веков. О эти «века») – любимая единица истории, избавляющая индивидуума от необходимости личной оценки происшедшего и награждающая его почетным статусом жертвы истории.

32

В отличие от оледенения, цивилизации – какие они ни на есть – перемещаются с Юга на Север. Как бы стремясь заполнить вакуум, оставленный оледенением. Тропический лес постепенно одолевает хвойный и смешанный – если не с помощью листа, то с помощью архитектуры. Иногда возникает ощущение, что барокко, рококо, даже шинкель – просто бессознательная тоска вида о его вечнозеленом прошлом. Папоротник пагод – тоже.

В широтном направлении перемещаются только кочевники. И, как правило, с Востока на Запад. Кочевничество имеет смысл только в определенной климатической зоне. Эскимосы – в пределах полярного круга; татары и монголы – в пределах черноземной полосы. Купола юрт и иглу, конусы палаток и чумов.

Я видел мечети Средней Азии – мечети Самарканда, Бухары, Хивы: подлинные перлы мусульманской архитектуры. Как не сказал Ленин, ничего не знаю лучше Шах-И-Зинды, на полу которой я провел несколько ночей, не имея другого места для ночлега. Мне было девятнадцать лет, но я вспоминаю с нежностью об этих мечетях отнюдь не поэтому. Они – шедевры масштаба и колорита, они – свидетельства лиричности Ислама. Их глазурь, их изумруд и кобальт запечатлеваются на вашей сетчатке в немалой степени благодаря контрасту с желто-бурым колоритом окружающего их ландшафта. Контраст этот, эта память о цветовой (по крайней мере) альтернативе реальному миру, и был, возможно, поводом к их появлению. В них действительно ощущается идеосинкретичность, самоувлеченность, желание за(со)вершить самих себя. Как лампы в темноте. Лучше: как кораллы – в пустыне.

33

Стамбульские же мечети – это Ислам торжествующий. Нет большего противоречия, чем торжествующая Церковь, – и нет большей безвкусицы. От этого страдает и Св. Петр в Риме. Но мечети Стамбула! Эти гигантские, насеившие на землю, не в силах от нее оторваться застывшие каменные жабы! Только минареты, более всего напоминающие – пророчески, боюсь, – установки класса земля-воздух, и указывают направление, в котором собиралась двинуться душа. Их

плоские, подобные крышкам кастрюль или чугунных латок, купола, понятия не имеющие, что им делать с небом: скорей предохраняющие содержимое, нежели поощряющие вздуть очи горе. Этот комплекс шатра! придавленности к земле! намаза.

На фоне заката, на гребне холма, их силуэты производят сильное впечатление; рука тянется к фотоаппарату, как у шпиона при виде военного объекта. В них и в самом деле есть нечто угрожающе-потустороннее, инопланетное, абсолютно герметическое, панциреобразное. И все это того же грязно-бурого оттенка, как и большинство построек в Стамбуле. И все это на фоне бирюзы Босфора.

И если перо не поднимается упрекнуть ихних безымянных правоверных создателей в эстетической тупости, то это потому, что тон этим донным, жабой крабообразным сооружениям задан был Айя-Софией – сооружением в высшей степени христианским. Константин, утверждают, заложил ее основание; возведена же она при Юстиниане. Снаружи отличить ее от мечетей невозможно, ибо судьба сыграла над Айя-Софией злую (злую ли?) шутку. При не помню уж каком султানে, да это и не важно – была Айя-София превращена в мечеть.

Превращение это больших усилий не потребовало: просто с обеих сторон возвели мусульмане четыре минарета. И стало Айя-Софию не отличить от мечети. То есть архитектурный стандарт Византии был доведен до своего логического конца. Это именно с ее приземистой грандиозностью соперничали строители мечетей Баязета и Сулеймана, не говоря уже о меньших братьях. Но и за это упрекать их нельзя – не только потому, что к моменту их прихода в Константинополь Айя-София царила над городом, но, прежде всего, потому, что и сама-то она была сооружением не римским, но именно восточным, точнее – сасанидским. Как и нельзя упрекать того, неважно-как-его-зовут, султана за превращение христианского храма в мечеть: в этой трансформации сказалось то, что можно, не подумав, принять за глубокое равнодушие Востока к проблемам метафизического порядка. На самом же деле за этим стояло и стоит, как сама Айя-София с ее минаретами и христианско-мусульманским декором внутри, историей и арабской вязью внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого стопой.

34

Это – чудовищная идея, не лишенная доли истины. Но попытаемся с ней справиться. В ее истоке лежит восточный принцип орнамента, основным элементом которого служит стих Корана, цитата из Пророка: вышитая, выгравированная, вырезанная в камне или дереве – и с самим процессом вышивания, гравировки, вырезания и т. п. графически – если принять во внимание арабскую письменность – совпадающая. То есть речь идет о декоративном аспекте письменности, о декоративном использовании фразы, слова, буквы; о чисто визуальном к ним отношении. Оставляя в стороне неприемлемость подобного взгляда на слово (как, впрочем, и на букву), заметим здесь лишь неизбежно буквальное, пространственное – ибо только средствами пространства и выражаемое – восприятие того или иного священного речения. Отметим зависимость этого орнамента от длины строки и от дидактического аспекта речения, зачастую уже достаточно орнаментального самого по себе. Напомним себе: единица восточного орнамента – фраза, слово, буква.

Единицей – основным элементом – орнамента, возникшего на Западе, служит счет: зарубка – и у нас в этот момент – абстракции, – отмечающая движение дней. Орнамент этот, иными словами, временной. Отсюда его ритмичность, его тенденция к симметричности, его принципиально абстрактный характер, подчиняющий графическое выражение ритмическому ощущению. Его сугубую не(анти)дидактичность. Его – за счет ритмичности, повторимости – постоянное абстрагирование от своей единицы, от единожды уже выраженного. Говоря короче, его динамичность.

Я бы заметил еще, что единица этого орнамента – день – идея дня – включает в себя любой опыт, в том числе и опыт священного речения. Из чего следует соображение о превосходстве бордюрички греческой вазы над узором ковра. Из чего следует, что еще неизвестно, кто больший кочевник: тот ли, кто кочует в пространстве, или тот, кто кочует во времени. Идея, что все переплетается, что все лишь узор ковра, стопой попираемого, сколь бы захватывающей (и буквально тоже) она ни была, все же сильно уступает идее, что все остается позади, ковер и попирающую его стопу – даже свою собственную – включая.

35

О, я предвижу возражения! Я предвижу искусствоведа или этнолога, готовых оспорить с цифрами и с черепками в руках все вышеизложенное. Я предвижу человека в очках, вносящего индийскую или китайскую вазу с бордюричком, только что мной описанным, и восклицającego: А это что? И разве Индия (или Китай) не Восток? Хуже того, ваза эта или блюдо могут оказаться из Египта, вообще из Африки, из Патагонии, из Северной Америки. И заструится поток доказательств несравненной ихней правоты относительно того, что доисламская культура была фигуративной, что таким образом Запад просто отстал от Востока, что орнамент вообще, по определению, нефункционален или что пространство больше, чем время. Что я, в целях скорей всего политических, подменяю историю антропологией. Что-нибудь в этом роде, или того похуже.

Что мне сказать на это? и надо ли говорить что-либо? Не уверен; но, тем не менее, замечу, что, не предвидя я этих возражений, я бы за перо не брался. Что пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно – вещь) тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее последнее.

И еще я предвижу, что не будет ни ваз, ни черепков, ни блюда, ни человека в очках. Что возражений не последует, что воцарится молчание. Не столько как знак согласия, сколько как свидетельство безразличия. Поэтому устервим наш довод немного и добавим, что ощущение времени есть глубоко индивидуалистический опыт. Что в течение жизни каждый человек, рано или поздно, оказывается в положении Робинзона Крузо, делающего зарубки и, насчитав, допустим, семь или десять, их перечеркивающего. Это и есть природа орнамента, независимо от предыдущей цивилизации или той, к которой человек этот принадлежит. И зарубки эти – дело глубоко одинокое, обособляющее индивидуума, вынуждающее его к пониманию если не уникальности, то автономности его существования в мире.

Это и есть основа нашей цивилизации. Это и есть то, от чего Константин ушел на Восток. К ковра.

36

Нормальный, душный, потный, пыльный майский день в Стамбуле. Сверх того, воскресенье. Человеческое стадо, бродящее под сводами Айя-Софии. Там, вверху, недостижимые для зренья, мозаики с изображением то ли царей, то ли Святых. Ниже, на стенах, достигаемые, но недоступные разумению круглые металлические щиты с золотыми по черному полю, весьма стилизованными цитатами из Пророка. Своего рода монументальные камеи с литерами, напоминающими Джаксона Поллака или Кандинского. И тут я замечаю, что – скользко: собор потеет. Не только пол, но и мрамор стен. Камень потеет. Спрашиваю – говорят, от сильного перепада температуры. И решаю – от моего присутствия, и выхожу.

37

Взглянуть на Отечество извне можно, только оказавшись вне стен Отечества. Или – расстелив карту. Но, как замечено выше, кто теперь смотрит на карту?

Если цивилизации – именно какие они ни на есть – действительно распространяются, как растительность, в направлении, обратном оледенению, с Юга на Север, то куда было Руси при ее географическом положении деваться от Византии? Не только Руси Киевской, но и Московской, а там уж и всему остальному между Донцом и Уралом? И нужно еще поблагодарить Тамерлана и Чингисхана за то, что они несколько задержали процесс, что несколько подморозили, точнее – подмяли, цветы Византии. Это неправда, что Русь сыграла роль щита, предохранившего Запад от татаро-монгольского ига. Роль щита этого сыграл Константинополь – тогда еще оплот организованного Христианства. (В 1403 году, между прочим, возникла под стенами Константинополя ситуация, которая чуть было не обернулась для Христианского – вообще для всего тогда известного – мира абсолютной катастрофой: Тамерлан встретился с Баязетом. По счастью, они обратили оружие против друг друга – сказалось, видимо, внутрисословное соперничество. Объединись они против Запада, т.е. в том направлении, в котором они оба двигались, мы смотрели бы нынче на карту миндалевидным, преимущественно карим оком.)

Деваться Руси от Византии было действительно некуда, подобно тому как и Западу от Рима. И подобно тому как он зарастал с веками римской колоннадой и законностью, Русь оказалась естественной географической добычей Византии. Если на пути первого стояли Альпы, второму мешало только Черное море – глубокая, но, в конечном счете, плоская вещь. Русь получила – приняла – из рук Византии все: не только христианскую литургию, но, и это главное, христианско-турецкую (и постепенно все более турецкую, ибо более неуязвимую, более военно-идеологическую) систему государственности. Не говоря уже о значительной части собственно словаря. Единственно, что Византия растеряла по дороге на Север, это свои замечательные ереси, своих монофизитов, свой арианизм, своих неоплатоников и проч., составлявших самое существо ее духовного и литературного бытия. Но распространение ее на Север происходило в период все большего воцарения полумесяца, и чисто физическая мощь Высокой Порты гипнотизировала Север в большей мере, нежели теологическая полемика вымирающих схоластов.

В конце концов, восторжествовал же неоплатонизм в искусстве. Мы знаем, откуда наши иконы, мы знаем, откуда наши луковки-маковки церквей. Мы знаем также, что нет ничего легче для государства, чем приспособить для своих нужд максимум Плотина насчет того, что задачей художника должно быть не подражание природе, но интерпретация идей. Что же касается идей, то чем покойный Сулов или кто там теперь занимает его место – не Великий муфтий? Чем генсек не падишах или, лучше того, император? И кто, в конце концов, назначает Патриарха, как, впрочем, и Великого визиря, и муфтия, и халифа? И чем политбюро – не Великий Диван? И не один ли шаг – шах – от дивана до оттоманки?

Не Оттоманская ли мы теперь империя – по площади, по военной мощи, по угрозе для мира Западного. И не больше ли наша угроза оттого, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости – нет! до узнаваемости! – Христианства. Не больше ли она, оттого что – соблазнительней? И что мы слышим уже в этом вопле покойного Милюкова: «А Дарданеллы будут наши!»? Эхо Катона? Тоску христианина по своей святыне? Или все еще голос Баязета, Тамерлана, Селима, Мехмета? И уж коли на то пошло, коли уж мы цитируем и интерпретируем, то что звучит в этом крике Константина Леонтьева – крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве: «Россия должна править бесстыдно!» Что мы слышим в этом паскудном пророческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух места?

38

Не дай нам Бог дальше заглядывать в турецко-русский словарь. Остановимся на слове «чай», означающем именно чай, откуда бы оно и он ни пришли. Чай в Турции замечательный, лучше, чем кофе, и, как почистить ботинки, ничего не стоит в переводе на любые известные нам деньги.

Он крепок, цвета прозрачного кирпича, но не будоражит, ибо подается в этом бардаке – стакане емкостью грамм в пятьдесят, не больше. Он – лучшее из всего попавшегося мне в Стамбуле, этой помеси Астрахани и Сталинабада.

Чай – и зрелище стены Константина, которой я бы не увидел, если бы мне не повезло и шофер такси, которому сказано было ехать в Топкапи, не оказался жуликом и не покатыл вокруг всего города.

По высоте, толщине и характеру кладки стены вы можете судить о серьезности намерений ее строителя. Константин был предельно серьезен: ее развалины, в которых теперь ютятся цыгане, козы и промышляющие телом молодые люди, и сегодня могли бы удержать любую армию, будь нынешняя война позиционной. С другой стороны, если признать за цивилизациями характер растительный, то есть идеологический, то возведение и этой стены было пустой тратой времени. От антииндивидуализма, во всяком случае, от духа подчинения и релятивизма ни стеной, ни морем не отгородиться.

Добравшись, в конце концов, до Топкапи и осмотрев большую часть его содержимого – преимущественно «кафтаны» султанов, и лингвистически и визуально абсолютно совпадающие с гардеробом московских государей, я направился к цели моего во дворец этот паломничества – к сералю, – только чтобы обнаружить на дверях этого главного на свете павильона табличку, сообщавшую по-турецки и по-английски: «Закрит на реставрацию». О если бы!-воскликнул я мысленно, пытаюсь совладать с разочарованием.

39

Пора завязывать. Парохода, как я сказал, ни из Стамбула, ни из Смирны было не найти. Я сел в самолет и через два часа полета над Эгейским морем – сквозь воздух, не менее некогда обитаемый, чем архипелаг внизу, – приземлился в аэропорту в Афинах.

В 68 километрах от Афин, в Суньоне, на вершине скалы, падающей отвесно в море, стоит построенный почти одновременно с Парфеноном в Афинах – разница в каких-нибудь 50 лет – храм Посейдона. Стоит уже две тыщи с половиной лет.

Он раз в десять меньше Парфенона. Во сколько раз он прекрасней, сказать трудно, ибо непонятно, что следует считать единицей совершенства. Крыши у него нет.

Вокруг – ни души. Суньон – рыбацкая деревня с двумя-тремя теперь современными гостиницами – лежит далеко внизу. Там, на вершине темной скалы, в вечерней дымке, издали храм выглядит скорее спущенным с неба, чем воздвигнутым на земле. У мрамора больше сходства с облаком, нежели с почвой.

Восемнадцать белых колонн, соединенных белым же мраморным основанием, стоят на равном друг от друга расстоянии. Между ними и землей, между ними и морем, между ними и небом Эллады – никого и ничего.

Как и почти всюду в Европе, здесь побывал Байрон, вырезавший на основании одной из колонн свое имя. По его стопам автобус привозит туристов; потом он их увозит. Эрозия, от которой поверхность колонн заметно страдает, не имеет никакого отношения к выветриванию. Это – оспа взоров, линз, вспышек.

Потом спускаются сумерки, темнеет. Восемнадцать колонн, восемнадцать вертикальных белых тел, на равном расстоянии друг от друга, на вершине скалы, под открытым небом встречают ночь. Если бы они считали дни, таких дней было бы шестьдесят миллионов. Издали, впрочем, в вечерней дымке, благодаря равным между собой интервалам, белые их вертикальные тела и сами выглядят как орнамент.

Идея порядка? Принцип симметрии? Чувство ритма? Идолопоклонство?

40

Наверное, следовало взять рекомендательные письма, записать, по крайней мере, два-три телефона, отправляясь в Стамбул. Я этого не сделал. Наверное, следовало с кем-то познакомиться, вступить в контакт, взглянуть на жизнь этого места изнутри, а не сбрасывать местное население со счетов как чуждую толпу, не отметать людей, как лезущую в глаза психологическую пыль. Что ж, вполне возможно, что мое отношение к людям, в свою очередь, тоже пахнет Востоком. В конце концов, откуда я сам? Но в определенном возрасте человек устает от себе подобных, устает засорять свои сознание и подсознание. Еще один – или десяток – рассказ о жестокости? Еще один – или сотня – пример человеческой подлости, глупости, доблести? У мизантропии, в конце концов, тоже должны быть какие-то пределы.

Достаточно поэтому, взглянув в словарь, установить, что «каторга» – тоже турецкое слово. Как и достаточно обнаружить на турецкой карте – то ли в Анатолии, то ли в Ионии – город, называющийся «Нигде».

41

Я не историк, не журналист, не этнограф. Я, в лучшем случае, путешественник, жертва географии. Не истории, заметьте себе, географии. Это то, что роднит меня до сих пор с державой, в которой мне выпало родиться, с нашим печально, дорогие друзья, знаменитым Третьим Римом. Поэтому меня не слишком интересует политический курс нынешней Турции, реформы Ататюрка, чей портрет украшает засаленные обои самой последней кофейни, равно как и не поддающуюся никакому конвертированию и являющуюся нереальной формой оплаты реального труда турецкую лиру.

Я приехал сюда взглянуть на прошлое, не на будущее, ибо последнего здесь нет: оно, какое оно ни есть, тоже ушло отсюда на Север. Здесь есть только незавидное, третьесортное настоящее трудолюбивых, но ограбленных интенсивностью истории этого места людей. Больше здесь уже никогда ничего не произойдет, кроме разве что уличных беспорядков или землетрясения. Может быть, впрочем, здесь еще откроют нефть: уж больно сильно воняет сероводородом Золотой Рог, с маслянистой поверхности которого открывается такой шикарный вид на панораму Стамбула. Впрочем, вряд ли, и вонь эта – вонь нефти, проливаемой проходящими через пролив ржавыми, только что не дырявыми танкерами. На ней одной, по-моему, можно было бы сколотить состояние.

Впрочем, подобный проект покажется, наверно, местному человеку чересчур предприимчивым. Местный человек по натуре скорей консервативен, даже если он делец или негоциант, не говоря уже о рабочем классе, невольно, но наглухо запертом в традиционности, в консервативности нищенской оплатой труда. В своей тарелке местный человек выглядит здесь более всего под сводами бесконечно переплетающихся, подобно узору ковра или арабской вязи, мечетей, галерей местного базара, который и есть сердце, мозг и душа Стамбула. Это – город в городе: это и выстроено на века. Этого ни на Запад, ни на Север, ни на Юг не перенести. ГУМ, Бонмарше, Харрод, Мэйси, вместе взятые и в куб возведенные, суть детский лепет в сравнении с этими катакомбами. Станным образом, но благодаря горящим везде гирляндам желтых стоваттных лампочек и бесконечной россыпи бронзы, бус, браслетов, серебра и золота под стеклом, не говоря уже о собственно коврах, иконах, самоварах, распятиях и прочем, базар этот в Стамбуле производит впечатление именно православной церкви, разветвляющейся и извивающейся, впрочем, как цитата из Пророка. Плоский вариант Айя-Софии.

42

Цивилизации двигаются в меридиональном направлении. Кочевники (включая войны новейшего времени, ибо война суть эхо кочевого инстинкта) – в широтном. Это, видимо, еще один вариант креста, привидевшегося Константину. Оба движения обладают естественной (растительной или животной) логикой, учитывая которую, нетрудно оказаться в состоянии, когда никого и ни в чем нельзя упрекнуть. В состоянии, именуемом меланхолией или – более справедливо – фатализмом. Его можно приписать возрасту, влиянию Востока; при некотором усилии воображения – христианскому смирению.

Выгоды этого состояния очевидны, ибо они эгоистичны. Ибо оно – как и всякое, впрочем, смирение – достигается всегда за счет немого бессилия жертв истории – прошлых, настоящих, будущих; ибо оно является эхом бессилия миллионов. И если вы уже не в том возрасте, когда можно вытащить из ножен меч или вскарабкаться на трибуну, чтобы проорать морю голов о своем отвращении к прошедшему, происходящему и имеющему произойти, если таковая трибуна отсутствует или если таковое море пересохло, – все-таки остается еще лицо и губы, по которым может еще скользнуть вызванная открывающейся как мысленному, так и ничем не вооруженному взору картиной улыбка презрения.

43

С ней, с этой улыбкой на устах, можно взобраться на паром и отправиться пить чай в Азию. Через двадцать минут можно сойти в Чингельчее, найти кафе на самом берегу Босфора, сесть на стул, заказать чай и, вдыхая запах гниющих водорослей, наблюдать, не меняя выражения лица, как авианосцы Третьего Рима медленно плывут сквозь ворота Второго, направляясь в Первый.

Стамбул – Афины, июнь 1985

Лагуна (1973)

I

Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион «Аккадемия» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора; сунув гроссбух под локоть,
клерк поворачивает колесо.

II

И восходит в свой номер на борт по трапу
постоялец, несущий в кармане граппу,
совершенный никто, человек в плаще,
потерявший память, отчизну, сына;
по горбу его плачет в лесах осина,
если кто-то плачет о нем вообще.

III

Венецийских церквей, как сервизов чайных,
слышен звон в коробке из-под случайных
жизней. Бронзовый осьминог
люстры в трельяже, заросшем ряской,
лизет набрякший слезами, лаской,
грязными снами сырой станок.

IV

Адриатика ночью восточным ветром
канал наполняет, как ванну, с верхом,
лодки качает, как люльки; фиш,
а не вол в изголовьи встает ночами,
и звезда морская в окне лучами
штору шевелит, покуда спишь.

V

Так и будем жить, заливая мертвой
водой стеклянной графина мокрый
пламень граппы, кромсая леща, а не
птицу-гуся, чтобы нас насытил
предок хордовый Твой, Спаситель,
зимней ночью в сырой стране.

VI

Рождество без снега, шаров и ели,
у моря, стесненного картой в теле;
створку моллюска пустив ко дну,
пряча лицо, но спиной пленяя,
Время выходит из волн, меняя
стрелку на башне – ее одну.

VII

Тонущий город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет «ратуй!»,
в плеске зеркал захлебнуться рад.

VIII

Гондолу бьет о гнилые сваи.
Звук отрицает себя, слова и
слух; а также державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту.

IX

Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
жест получим, похожий на
молот в серпе, – и, как чорт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.

X

Тело в плаще обживает сферы,
где у Софии, Надежды, Веры
и Любви нет грядущего, но всегда
есть настоящее, сколь бы горек
не был вкус поцелуев эбре' и гоек,
и города, где стопа следа

XI

не оставляет – как челн на глади
водной, любое пространство сзади,
взятое в цифрах, сводя к нулю –
не оставляет следов глубоких
на площадях, как «прощай» широких,
в улицах узких, как звук «люблю».

XII

Шпили, колонны, резьба, лепнина
арок, мостов и дворцов; взгляни на-
верх: увидишь улыбку льва
на охваченной ветров, как платьем, башне,
несокрушимой, как злак вне пашни,
с поясом времени вместо рва.

XIII

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым
лицом, сравнимым во тьме со снятым
с безымянного пальца кольцом, грызя
ноготь, смотрит, объят покоем,
в то «никуда», задержаться в коем
мысли можно, зрачку – нельзя.

XIV

Там, за нигде, за его пределом
– черным, бесцветным, возможно, белым –
есть какая-то вещь, предмет.
Может быть, тело. В эпоху тренья
скорость света есть скорость зренья;
даже тогда, когда света нет.

Сан-Пьетро (1977)

I

Третью неделю туман не слезает с белой колокольни коричневого, захолустного городка, затерявшегося в глухоманном углу Северной Адриатики. Электричество продолжает в полдень гореть в таверне. Плитняк мостовой отливает желтой жареной рыбой. Оцепеневшие автомобили пропадают из виду, не заводя мотора. И вывеску не дочитать до конца. Уже не терракота и охра впитывают в себя сырость, но сырость впитывает охру и терракоту.

Тень, насыщающаяся от света, радуется при виде снимаемого с гвоздя пальто совершенно по-христиански. Ставни широко растопырены, точно крылья погрузившихся с головой в чужие неурядицы ангелов. Там и сям слезающая струпьями штукатурка обнажает красную, воспаленную кладку, и третью неделю сохнувшие исподники настолько привыкли к дневному свету и к своей веревке, что человек если выходит на улицу, то выходит в пиджаке на голое тело, в туфлях на босу ногу.

В два часа пополудни силуэт почтальона приобретает в подъезде резкие очертанья, чтоб, мгновенье спустя, снова сделаться силуэтом.

Удары колокола в тумане повторяют эту же процедуру.

В итоге невольно оглядываешься через плечо самому себе вслед, как иной прохожий, стремясь рассмотреть получше щиколотки прошелестевшей мимо красавицы, но – ничего не видишь, кроме хлопьев тумана. Безветрие, тишина. Направленье потеряно. За поворотом фонари обрываются, как белое многоточье, за которым следует только запах водорослей и очертанья пирса. Безветрие; и тишина как ржанье никогда не сбивающейся с пути чугунной кобылы Виктора-Эммануила.

II

Зимой обычно смеркается слишком рано;
 где-то вовне, снаружи, над головою.
 Туго спеленутые клочковатой
 марлей стрелки на городских часах
 отстают от меркнувшего вдалеке
 рассеянного дневного света.
 За сигаретами вышедший постоялец
 возвращается через десять минут к себе
 по пробуравленному в тумане
 его же туловищем туннелю.
 Ровный гул невидимого аэроплана
 напоминает жужжание пылесоса
 в дальнем конце гостиничного коридора
 и поглощает, стихая, свет.
 «Неббиа», – произносит, зевая, диктор,
 и глаза на секунду слипаются, наподобье
 раковины, когда проплывает рыба
 (зрачок погружается ненадолго
 в свои перламутровые потемки);
 и подворотня с лампочкой выглядит, как ребенок,
 поглощенный чтением под одеялом;
 одеяло все в складках, как тога Евангелиста
 в нише. Настоящее, наше время
 со стуком отскакивает от бурого кирпича
 базилики, точно белый
 кожаный мяч, вколачиваемый в нее
 школьниками после школы.
 Щербатые, но не мыслящие себя
 в профиль, обшарпанные фасады.
 Только голые икры кривых балясин
 одушевляют наглухо запертые балконы,
 где вот уже двести лет никто
 не появляется: ни наследница, ни кормилица.
 Облюбованные брачующимися и просто
 скучающими чудищами карнизы.
 Колоннада, оплывшая как стеарин.
 И слепое, агатовое великолепье
 непроницаемого стекла,
 за которым скрываются кушетка и пианино:
 старые, но именно светом дня
 оберегаемые успешно тайны.
 В холодное время года нормальный звук
 предпочитает тепло гортани капризам эха.
 Рыба безмолствует; в недрах материка
 распевает горлинка. Но ни той, ни другой не слышно.

Повисший над пресным каналом мост
удерживает расплывчатый противоположный берег
от попытки совсем отделиться и выйти в море.

Так, дохнув на стекло, выводят инициалы
тех, с чьим отсутствием не смириться;
и подтек превращает заветный вензель
в хвост морского конька. Вбирай же красной
губкою легких плотный молочный пар,
выдыхаемый всплывшею Амфитритой
и ее nereидами! Протяни
руку – и кончики пальцев коснутся торса,
покрытого пузырьками
и пахнущего, как в детстве, йодом.

III

Выстиранная, выглаженная простыня
залива шуршит оборками, и бесцветный
воздух на миг сгущается в голубя или в чайку,
но тотчас растворяется. Вытащенные из воды
лодки, баркасы, гондолы, плоскодонки,
как непарная обувь, разбросаны на песке,
поскрипывающим под подошвой. Помни:
любое движенье, по сути, есть
перенесение тяжести тела в другое место.

Помни, что прошлому не уложиться
без остатка в памяти, что ему
необходимо будущее. Твердо помни:
только вода, и она одна,
всегда и везде остается верной
себе – нечувствительной к метаморфозам, плоской,
находящейся там, где сухой земли
больше нет. И патетика жизни с ее началом,
серединой, редющим календарем, концом
и т. д. стусевывается в виду
вечной, мелкой, бесцветной ряби.

Жесткая, мертвая проволока виноградной
лозы мелко вздрагивает от собственного напряженья.

Деревья в черном саду ничем
не отличаются от ограды, выглядящей
как человек, которому больше не в чем
и – главное – некому признаваться.

Смеркается; безветрие, тишина.

Хруст ракушечника, шорох раздавленного гнилого
тростника. Пинаемая носком
жестянка взлетает в воздух и пропадает
из виду. Даже спустя минуту
не слышать звука ее паденья
в мокрый песок. Ни, тем более, всплеска.

Венецианские строфы (1)

Сюзанне Зонтаг

I

Мокрая коновязь пристани. Понурая ездовая
машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну.
Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая
вразнобой тишину.
Чем доверчивей мавр, тем чернее от слов бумага,
и рука, дотянуться до горлышка коротка,
прижимает к лицу кружева смятого в пальцах Яго
каменного платка.

II

Площадь пустынна, набережные безлюдны.
Больше лиц на стенах кафе, чем в самом кафе:
дева в шальварах наигрывает на лютне
такому же Мустафе.
О, девятнадцатый век! Тоска по востоку! Поза
изгнанника на скале! И, как лейкоцит в крови,
луна в твореньях певцов, сгоравших от туберкулеза,
писавших, что – от любви.

III

Ночью здесь делать нечего. Ни нежной Дузе, ни арий.
Одинокий каблук выстукивает диабаз.
Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий,
отшатывается от вас
и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем
с собственным эхом; оно обдаёт теплом
мраморный, гулкий, пустой аквариум
с запотевшим стеклом.

IV

За золотой чешуей всплывших в канале окон –
масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь.
Вот что прячут внутри, штору задернув, окунь!
жаброй хлопая, лещ!
От нечаянной встречи под потолком с богиней,
сбросившей все с себя, кружится голова,
и подъезды, чье небо воспалено ангиной
лампочки, произносят «а».

V

Как здесь били хвостом! Как здесь лещами вились!
Как, вертясь, нерестясь, шли косяком в овал
зеркала! В епанче белый глубокий вырез
как волновал!
Как сирокко – лагуну. Как посреди панели
здесь превращались юбки и панталоны в щи!
Где они все теперь – эти маски, полишинели,
перевертни, плащи?

VI

Так меркнут люстры в опере; так на убыль
к ночи идут в объеме медузами купола.
Так сужается улица, вьющаяся как угорь,
и площадь – как камбала.
Так подбирает гребни, выпавшие из женских
взбитых причесок, для дочерей Нерей,
оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг
уличных фонарей.

VII

Так смолкают оркестры. Город сродни попытке
воздуха удержать ноту от тишины,
и дворцы стоят, как сдвинутые пюпитры,
плохо освещены.
Только фальцет звезды меж телеграфных линий –
там, где глубоким сном спит гражданин Перми.
Но вода аплодирует, и набережная – как иней,
осевший на до-ре-ми.

VIII

И питомец Лоррена, согнув колено,
спихивая, как за борт, буквы в конец строки,
тщится рассудок предохранить от крена
выпитому вопреки.
Тянет раздеться, скинуть суконный панцирь,
рухнуть в кровать, прижаться к живой кости,
как к горячему зеркалу, с чьей амальгамы пальцем
нежность не соскрести.

1982

Венецианские строфы (2)

Геннадию Шмакову

I

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
От пощечины булочника матовая щека
приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
в лавке ростовщика.
Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
школьники на бегу, утренние лучи
перебирают колонны, аркады, пряди
водорослей, кирпичи.

II

Долго светает. Голый, холодный мрамор
бедер новой Сусанны сопровождаем при
погружении под воду стрекотом кинокамер
новых старцев. Два-три
грузных голубя, снявшихся с капители,
на лету превращаются в чаек: таков налог
на полет над водой, либо – поклеп постели,
сонный, на потолок.

III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
спящей красавицы, что ко всему глуха.
Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки,
и ангелы – от греха.
Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.
Пена бледного шелка захлестывает, легка,
стулья и зеркало – местный стеклянный выход
вещи из тупика.

IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
раковину заполняет дребезг колоколов.
То бредут к водопою глотнуть речную
рябь стада куполов.
Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
крепкий кофе, скомканное тряпье.
И макает в горло дракона золотой Егорий,
как в чернила, копье.

V

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,
оставляя весь мир – всю синеву! – в тылу,
припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
и сдается стеклу.

Кучерявая свора тшится настигнуть вора
в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.
Город выглядит как толчея фарфора
и битого хрусталя.

VI

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпиди, пилястры, арки,
выраженье лица.

Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
самой H₂O. Но, как всякое в мире «за»,
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.

VII

Так выходят из вод, ошеломляя гладью
кожи бугристой берег, с цветком в руке,
забывая про платье, предоставляя платью
всплескивать вдалеке.

Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут
водорослями, отличаясь от вообще людей,
голубей отрывая от сумасшедших шахмат
на торцах площадей.

VIII

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвигая скулы
фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

В Италии (1985)

Роберто и Флер Калассо

И я когда-то жил в городе, где на домах росли
статуи, где по улицам с криком «растли! растли!»
бегал местный философ, тряся бородкой,
и бесконечная набережная делала жизнь короткой.

Теперь там садится солнце, кариатид слепя.
Но тех, кто любили меня больше самих себя,
больше нету в живых. Утратив контакт с объектом
преследования, собаки принохиваются к обедкам,

и в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей. Закат;
голоса в отдалении, выкрики типа «гад!
уйди!» на чужом наречьи. Но нет ничего понятней.
И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней

сильно сверкает, зрачок слезя.
Человек, дожив до того момента, когда нельзя
его больше любить, брезгуя плыть противу
бешеного течения, прячется в перспективу.

Лидо (1989)

Ржавый румынский танкер, барахтающийся в лазури,
как стоптанный полуботинок, который, вздохнув, разули.

Команда в одном исподнем – бабники, онанюги –
загорает на палубе, поскольку они на юге,

но без копейки в кармане, чтоб выйти в город,
издали выглядящий, точно он приколот

как открытка к закату; над рейдом плывут отары
туч, запах потных подмышек и перебор гитары.

О, Средиземное море! после твоей пустыни
ногу тянет запутаться в уличной паутине.

Палубные надстройки и прогнивший базис
разглядывают в бинокль порт, как верблюды – оазис.

Ах, лишь истлев в песке, растеряв наколки,
можно видать, пройти сквозь ушко иголки,

чтоб сесть там за круглый столик с какой-нибудь ненаглядной
местных кровей под цветной гирляндой

и слушать, как в южном небе над флагом морской купальни
шелестят, точно пальцы, мусоля банкноты, пальмы.

Посвящается Джироламо Марчелло (1988)

Однажды я тоже зимою приплыл сюда
из Египта, считая, что буду встречен
на запруженной набережной женой в меховом манто
и в шляпке с вуалью. Однако встречать меня
пришла не она, а две старенькие болонки
с золотыми зубами. Хозяин-американец
объяснял мне потом, что если его ограбят,
болонки позволят ему свести
на первое время концы с концами.
Я поддакивал и смеялся.

Набережная выглядела бесконечной
и безлюдной. Зимний, потусторонний
свет превращал дворцы в фарфоровую посуду
и население – в тех, кто к ней
не решается прикоснуться.
Ни о какой вуали, ни о каком манто
речи не было. Единственной прозрачной
вещью был воздух и розовая, кружевная
занавеска в гостинице «Мелеагр и Аталанта»,
где уже тогда, одиннадцать лет назад,
я мог, казалось бы, догадаться,
что будущее, увы, уже
настало. Когда человек один,
он в будущем, ибо оно способно
обойтись, в свою очередь, без сверхзвуковых вещей,
обтекаемой формы, свергнутого тирана,
рухнувшей статуи. Когда человек несчастен,
он в будущем.

Теперь я не становлюсь
больше в гостиничном номере на четвереньки,
имитируя мебель и защищаясь от
собственных максим. Теперь умереть от горя,
боюсь, означало бы умереть
с опозданием; а опаздывающих не любят
именно в будущем.

Набережная кишит
подростками, болтающими по-арабски.
Вуаль разрослась в паутину слухов,
перешедших впоследствии в сеть морщин,
и болонок давно поглотил их собачий Аушвиц.
Не видать и хозяина. Похоже, что уцелели
только я и вода: поскольку и у нее
нет прошлого.

С природы (1995)

Джироламо Марчелло

Солнце садится, и бар на углу закрылся.

Фонари загораются, точно глаза актриса
окаймляет лиловой краской для красоты и жути.

И головная боль опускается на парашюте
в затылок врага в мостовой шинели.

И голуби на фронтоне дворца Минелли
ебуться в последних лучах заката,
не обращая внимания, как когда-то
наши предки угрюмые в допотопных
обстоятельствах, на себе подобных.

Удары колокола с колокольни,
пустившей в венецианском небе корни,

точно падающие, не достигая
почвы, плоды. Если есть другая

жизнь, кто-то в ней занят сбором
этих вещей. Полагаю, в скором

времени я это выясню. Здесь, где столько
пролито семени, слез восторга

и вина, в переулке земного рая
вечером я стою, вбирая

сильно скукожившейся резиной
легких чистый, осенне-зимний,

розовый от черепичных кровель
местный воздух, которым вдоволь

не надышаться, особенно – напоследок!
пахнувший освобождением клеток

от времени. Мята точно деньги,
волна облизывает ступеньки

дворца своей голубой купюрой,
получая в качестве сдачи бурый

кирпич, подверженный дерматиту,
и ненадежную кариатиду,

водрузившую орган речи
с его сигаретой себе на плечи

и погруженную в лицезренье птичьей,
освободившейся от приличий,
вывернутой наизнанку спальни,
выглядающей то как слепок с пальмы,
то – обезумевшей римской
цифрой, то – рукописной строчкой с рифмой.